

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Вадим Чернов

Старая Русса Достоевского

Новеллы.....10

Светлана Бережная

«Я существовал и – существую»

Мемуары..... 70

Виктор Кустов

Одинокое плавание..... 87

Валерий Бродовский

Рассказы.....186

Александр Покровский

Времена 229

Мария Лабунько

Подарок 272

ПОЭЗИЯ

Валентина Дмитриченко

Стихотворения 3

Геннадий Иванов

Стихотворения 81

Станислав Подольский

Стихотворения 221

Элина Лаутина

Стихотворения 265

КРАЕВЕДЕНИЕ

Алексей Кругов

«Рождественские праздники
и Новый год на Ставрополье»... 289

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Тамерлан Техов

«Дар бесценный» 281



*Литературное
Ставрополье
№3 (2024)*



Главный редактор
Владимир Бутенко

© Правительство
Ставропольского края

УДК 821.161.1(470.630)-8
ББК 84(2-411.2)64
Л 64

Редакционная коллегия:

Н. Блохин, О. Воропаев, Е. Гончарова, А. Куприн,
Е. Полумискова, С. Скрипаль

Литературное Ставрополье. Альманах № 3
Л 64 (2024). – Воронеж: ООО «Славянская Типография»,
2024. – 300 с.
ISBN 978-5-6052245-3-2

УДК 821.161.1(470.630)-8
ББК 84(2-411.2)64

Адрес редакции:

355033, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел. (8652) 26-31-50

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются

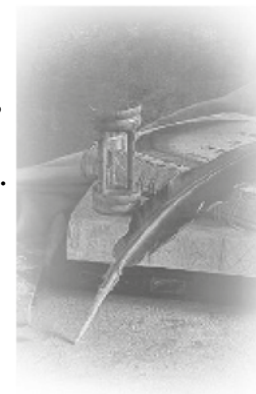
ISBN 978-5-6052245-3-2



9 785605 224532 >

Есть слова у меня

Шепелявит дождём,
От тоски почерневшая – осень,
Осыпается лист
С пожелтевшей до срока ольхи.
Через пару недель
Скользкой тиной затянутся
плёсы
И лавиной пойдут
Из души на бумагу стихи.
Я их буду писать
День и ночь по наитию свыше
Под невнятные всхлипы
И шорохи в старом саду.
Озорной ветерок
Вдруг подхватит
с обшарпанной крыши
Ворох красной листвы
И небрежно швырнёт
в пустоту.
Карамелькой душа
Растворится в белёсом тумане.
Сад озяб и промок
Под оранжевым ветхим
плащом...
Я не жду от судьбы
Исполнения заветных
желаний –
Есть слова у меня,
Что для счастья мне нужно
ещё



**Валентина
ДМИТРИЧЕНКО**

Поэзия



И тишина...

Стожок, прикрытый
шапкой снега,
Со стойким духом чабреца
Да куст рябины оберегом
у полусгнившего крыльца.
С петель слетевшие ворота,
Растрескавшаяся земля,
Невспаханные огороды,
Невыкошенные поля.
И тишина...
Лишь след разрухи
В глазах заплаканных окон.
И эти жалкие старухи
С немymi ликами икон.
Я, как никто другой,
повинна
В том, что земля моя больна.
И эта жуткая картина
На всю святую Русь – одна.

Высоко-высоко
Над седыми, как дым, облаками
Крутолобое солнце
Несёт самолёт на крыле.
А вдали, за грядой облаков,
Разгорается пламя
Золотого заката,
Какому не быть на Земле.
И светило, как мяч,
Отскочив от крыла самолёта

И торжественным маршем
Проследовав курсом весны,
Замерев на мгновенье,
Без звука упало в болото,
Чтоб с рассветом подняться
Над миром с другой стороны.
Поднялось. Рассвело
И увидела я на рассвете,
Как светло по планете
Шагает разбуженный день.
Треплет косы берёз
По-весеннему ласковый ветер.
И орут петухи,
И ломает заборы сирень!

Умирающей деревне

В руинах детский садик, магазин,
Контора, школа, клуб и элеватор.
Гниют под тёмным пологом осин
Моей деревни царские палаты.
Чертополох ползёт со всех сторон.
Укрывшись за туманами густыми,
Глядят дома глазами окон
Безжизненными, тёмными, пустыми.
Здесь утренние зори холодны.
Не им ли так осинник рукоплещет?
И жутко мне от этой тишины,
Таинственной, пугающей, зловещей,
Где срубы обросли зелёным мхом...
Блеснув зарёй на петушином гребне,
Трубит рассвет охрипшим петухом
Последней умирающей деревни.

Благодарю

Дом постарел, осунулся, зачах.
Осели стены, покосились рамы.
Но ты хранишь родительский очаг
Все эти годы после смерти мамы.
Сарай, колодец, баня, палисад
Да воробьи – подворья постояльцы.
Здесь жизнь кипела много лет назад,
Да убежала, как вода сквозь пальцы.
Мой милый брат, родная кровь моя!
За миг, что мне ночами будет сниться,
Благодарю – уже за то, что я
Смогла углам родимым поклониться!

Дом, в котором никто не живёт

И последний крутой поворот,
Открывающий взгляду картину:
Дом, в котором никто не живёт.
И вокруг – ни людей, ни скотины.

Захирела моя сторона,
Где был каждый доволен и счастлив.
На деревне четыре окна
Засветились и тут же погасли.

Я стою ни жива ни мертва –
Без кола, без угла – поневоле.
Закружилась моя голова
От внезапно нахлынувшей боли.

Ранний дождик зарю погасил,
Окропил тополя и берёзы.
Мне б заплакать, да не было сил
Утереть эти горькие слёзы.

Ни печки, ни лавочки

Не звякнула дужка, не скрипнула дверь,
Не встретила щебетом птичьим стреха.
Как сыро, как холодно в доме теперь –
Ни печки, ни лавочки, ни петуха,
Что гребень как солнце носил по двору.
И всё в палисаднике нашем цело.
Здесь было прохладно в любую жару,
В любые морозы здесь было тепло.
Садились мы в круг у костра, а потом
Под зычный, комарый назойливый гуд –
Мечтали, ведя разговоры о том,
Что скоро на Марсе сады зацветут.

Кругом вода

Душа в смятенье и тревоге
Беда. Беда.
По обе стороны дороги
Вода. Вода.
Она корчует остановки,
Столбы, мосты.
Несёт по улицам бытовки,
Гробы, кресты.
И Божий свет на поле брани
Встречал весну.
Мой Петропавловск,
Как «Титаник» –
Пошёл ко дну.
А над водой лишь дымоходы
Да провода.
Ни переправы и ни брода –
Кругом вода!

Ландыши

Волнуемая майским ветром,
Заполонив собою сад,
Цвела сирень, на сотни метров
Распространяя аромат.
Тонул в сирени город южный,
Блуждали сполохи в крови.
Цвели сады. И было душно
Не от сирени – от любви!
Она своей взрывною силой
Клонила к речке камыши.
Она собой заполонила
Все уголки моей души.
Был небосвод синее синьки,
Пришла пора весенних гроз.
И ты мне ландыши в корзинке
Сквозь многоликий город нёс.
Была весна, кипели страсти,
В садах рыдали соловьи.
И не было цветов прекрасней,
Чем эти ландыши твои!

Вдохновение

У меня сегодня вдохновенье.
Все дела, все помыслы светлы.
Наварю черничного варенья,
Перемою окна и полы.
На двоих в гостиной стол накрою.
Всё хозяйским глазом осматрю,

Телефоны выведу из строя,
Чаю с бергамотом заварю.
Будет на душе светло и звёдно
От того, что некого винить...
Приезжай! Ещё пока не поздно
Всё наладить, всё соединить!

Где ты, Родина?

Песня грустная разливалась
По селу на закате дня...
Только «малая» и осталась
В горькой памяти у меня.
Где ты, Родина, чьи дороги
Васильками в степях цвели?
Где ты, Родина, чьи тревоги
К стройкам века меня вели?
Всем врагам, всем ветрам открыта.
Отработала реверанс...
Изнасилована, избита,
Перепродана десять раз.
И под стон колокольных звонов,
По ночам, хоронясь во мгле,
Язвы мусорных полигонов
Расползаются по земле.
Времена-то пошли какие:
Честью стало и красть, и врать.
Страшно жить мне в такой России,
А тем более – умирать!

Антология
ставропольской
прозы

СТАРАЯ РУССА
ДОСТОЕВСКОГО

Повесть

«...Горизонт мировой литературы закрыт вершинами Льва Толстого, но если мы отойдем от этих вершин, то увидим за ними еще более высокие снежные пики Достоевского.

Достоевский – это чистокровный арабский скакун, который в момент бега, готовый пасть бездыханным, перекусывает себе жилу на ноге, выпуская кровь, открывая второе дыхание, и снова скачет впереди всех...»

Андрей Губин



Вадим
ЧЕРНОВ

Проза



1

Более двадцати лет хранилась у меня старая икона из церкви Старой Руссы – копия с рублевской «Троицы», которую я не так давно подарил одному ставропольскому писателю с надеждой, что он однажды напишет о своем «хождении во власть». Я уверен в сакральности этой иконы, от нее всегда исходила некая благодать, она всегда настраивала меня на воспоминания о моем первом пребывании в Новгороде и о Федоре Михайловиче Достоевском, у которого было трудное и горькое лето в 1872 году.

Но лучше всего обо всем рассказать так, как было.

Однажды военно-морской совет при Союзе писателей СССР решил проводить очередной семинар маринистов в Новгороде. До этого они, семинары, проходили в Москве, Новороссийске, Мурманске и других городах Советского Союза. Я был обязательным участником этих удивительных литературных посиделок, прежде всего по причине своей работоспособности. Никто из руководителей семинаров не был способен читать рукописи начинающих авторов так, как я. И поэтому мое слово было решающим – кого рекомендовать в члены Союза писателей из числа начинающих авторов-семинаристов.

Перед поездкой в Новгород я отправился на Сengiлеевское озеро, провел там целую неделю, поймал, просолил, проявил более пуда шемаек и рыбцов, чтобы побаловать друзей, прежде

всего Капитана (Бориса Романова), Боцмана (Володю Тюрина) и Советника (Володю Успенского) – больших любителей пива. И тут небольшое пояснение: у меня есть привычка «крестить» своих друзей, придумывать им прозвища. Друзья, в свою очередь, «крестили» меня, по сей день шутливо называют меня отцом Сергием. Я стал «отцом» давно, во время учебы на Высших литературных курсах в Москве после одного курьезного случая. А дело было так.

Однажды староста нашего курса, поэт из Барнаула, Гена Панов решил отметить свой день рождения и пригласил на него разных людей, в том числе и меня. Наши комнаты на седьмом этаже общежития литинститута на улице Руставели были обширные, кухни – напротив. Но даже большая комната Геннадия с трудом вместила приглашенных, да и то только потому, что некоторые гости потеснились, усадив своих дам на один стул с собой. А их было немного – критикесса из Болгарии со своей землячкой, выпускницей ВГИКа Снежаной, поэтесса из Ямала Евдокия да три или четыре студентки литинститута, живших этажами ниже.

Блистала, конечно, Снежана, поразительно красивая девушка, которой я искренне любовался весь вечер. Это заметили мои сокурсники, начали подкалывать меня, сравнивая будущую болгарскую актрису с моей женой Любашей. Мол, куда Любаше до Снежаны, хотя по возрасту они были одинаковы – обеим было по двадцать три года.

Я сердился, однокурсники не унимались, и я ушел со дня рождения досрочно в свою комнату, забыв запереть входную дверь, разделся и заснул.

Проснулся от того, что скрипнула дверь, и в проеме я увидел не совсем трезвую Снежану с лукавой улыбкой на губах.

– Можно, я у вас переночую? – сказала будущая актриса. Я спросонья, как был в трусах, соскочил со своей постели, не знал, что мне делать. Воскликнул:

– Снежана, вы в своем уме?

– Но в комнате две кровати. Неужели я вам чем-то помешаю? – игриво спросила она. – Вы такой добрый...

– Возможно, но... не лучше ли будет, если я вызову такси и вы отправитесь спать в свое общежитие?

– Не хочу ехать в свое общежитие, – капризничала Снежана. – Хочу общаться с вами. Вы такой колоритный и необычный...

Откуда мне было знать, что мои подвыпившие однокурсники решили разыграть меня с помощью Снежаны, что они толпились той ночью в коридоре и зажимали рты от смеха, наблюдая за происходящим. А я не знал, что мне делать, как поступить?

Обаятельная болгарка в конце концов покинула комнату, плача почти натурально, со словами:

– Неужели я хуже вашей жены!

Сокурсники оценили мою мужскую стойкость и с той поры стали называть меня отцом Сергием, что ни тогда, ни потом не вызывало у меня

особых возражений. Иногда шутили: «Ты ничего не отрубил в ту ночь?» А со Снежаной я встречусь через много лет...

Но вернусь к дальнейшему повествованию.

Из Ставрополя в Москву я прилетел в обед на самолете. Меня в столице ждали другие руководители семинара, имена и прозвища которых я уже называл. Далее мы поехали поездом, утром были в Новгороде. Нашу группу руководителей возглавлял «суровый» человек по прозвищу Адмирал, он же – финансист, со своей помощницей из бухгалтерии Союза писателей, у которой была в сумке солидная сумма в несколько тысяч рублей. В Москве на Ленинградском вокзале Адмирал по списку проверил прибывших писателей, выяснил, что нет среди них того, кого насмешливый Володя Успенский назвал «Левой из Владика».

– Где он? – строго спросил Адмирал в мундире морского офицера.

– С утра он сидел в ресторане УДЛ, – отвечал секретарь военно-морского совета Тюрин по прозвищу Боцман. – Отмечал свое прибытие в столицу из Владивостока. Может, и перебрал...

И тут около нашего вагона появился рослый, с красивой сединой капитан дальнего плавания с пузатым портфелем и, естественно, сильно навеселе. До этого я его лично не знал, но слышал о нем разное, читал его очерковые книги о морях Дальнего Востока. В них была достоверность, читая их, я видел океанские просторы и слышал грохот шторма за Курильской грядой.

– Разрешите доложить, – обратился, пошатываясь, Лева к Владимиру, который махнул рукой со словами:

– Иди в свое купе, утром будь как штык! Иначе отчислю, сниму с довольствия!

– Так точно! – отвечал Лева.

Утром в Новгороде он был действительно, «как штык», даже успел побриться и сразу кинулся обниматься с Борисом, руководителем местного отделения СП. Борис торжественно встречал нас с группой новгородских писателей.

– Ребята, – дал команду Капитан, освобождаясь от объятий Левы, – грузитесь в автобус. Едем в ресторан завтракать, располагаемся в гостинице, отдыхаем, а в 12 ноль-ноль нас примет первый секретарь Новгородской области. И далее все – по графику.

Самый тяжеловесный груз был у меня – чемодан с вяленой сенгилеевской рыбой, остальные были с портфелями или аэрофлотовскими сумками.

Перед тем как уехать, Борис попросил всех оглядеть Новгородский железнодорожный вокзал, сказал:

– Более ста лет тому назад здесь однажды ходил и нервничал в окружении своих детей и юной Анны Григорьевны великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский.

Тут Боря посмотрел на меня, подмигнул, говоря:

– Федор Михайлович переплюнул отца Сергея. Анна Григорьевна была моложе своего мужа на двадцать четыре года. Но...

Я показал Борису кулак. К тому времени у меня уже не было юной жены Любаши. Я разошелся с ней перед поездкой в Новгород, остался холостяком на всю оставшуюся жизнь. Этого мой друг не знал, да и нужно ему это было! У него самого все в семье шло наперекосяк, дети выросли, а жена стала совсем самостоятельной...

Мы уже ехали в центр Новгорода, когда Лева из Владика вдруг обнаружил, что нет у него пузатого портфеля. Оказывается, он его забыл взять с собой. Но где остался портфель, в Москве или в поезде?

Началась суматоха, тихо матерился Адмирал.

– В портфеле нет ничего ценного, если не считать рукописей семинаристов, которые мы должны обсуждать, – охал Лева из Владика.

Борис остановил автобус, послал на такси одного из новгородцев на вокзал за портфелем. «Он, возможно, остался в купе, – сказал Борис. – А ты, Лева, теперь всю неделю будешь при мне и не выпьешь ни капли, если мы не найдем портфеля».

2

– Мистика, – с улыбкой продолжил Борис по прозвищу Капитан. – Более ста лет назад подобное случилось и с Достоевским. Но он-то был трезвым! Хотите, расскажу об этом? Он однажды приехал из Руссы в Новгород и на железнодорожном вокзале обнаружил, что пропал чемодан с рукописью романа «Подросток». Это была целая эпопея – поиски чемодана... но вначале я вам, дорогие гости, скажу несколько слов

о земле новгородской, где всегда жили вольные и гордые люди – первопроходцы, странники и моряки. И не случайно у нас поселился в Старой Руссе Федор Михайлович, уставший от столичной суеты и поездок в Европу. Посчитал возможным жить и умереть на нашей земле и Державин. Мы гордимся этими двумя гениями русской литературы XIX века, нашими земляками...

Кто-то из приехавших перебил пафос речи Капитана такими словами:

– Ты не прав, Борис. Державин, скорее, предтеча гениев – Пушкина, Лермонтова, Гоголя и того же Достоевского.

Бородатый Капитан, стоящий около водителя автобуса лицом к нам, сидящим, стал медленно наливать кровью, зашевелил усами. Я, зная его непредсказуемую реакцию полярного моряка, толкнул в бок Тюрина, мол, сейчас Капитан выдаст! И он «выдал», начав... читать стихи. Автобус в это время ехал медленно, и не случайно, поджидая таким образом посланного за портфелем.

*Дух всюду суций и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем – Бог!*

Романов чуть не задохнулся от волнения, но через минуту продолжил:

– Кто заглянул в такую бездну из комнатки, снятой у старушки в Нарве? Отвечаю: гениальный Державин, а не предтеча Пушкина. Пуш-

кин много позже написал: «Мой идеал теперь – хозяйка, Мое желание – покой, Да щей горшок, да сам большой». Он, наверное, перед этим прочитал строки своего учителя:

*Горшок горячих добрых щей,
Копченый окорок под дымом;
Обсаженный семьей моей,
Средь коей сам и господином,
И тут-то вкусен мой обед!*

Я считаю, что они оба – гениальные поэты. Ясно? И далее сообщу то, что знают немногие.

Гаврила Романович в 1784 году проезжал Нарву, остановился на постоялом дворе и... надолго исчез. Оказывается, он нанял «маленький покой» у одной старушки, закрылся там и написал то, что созревало в нем четыре года – стихотворение «Бог». Его, что называется, «приперло». Заметьте, не в Петербурге. В столице трудно написать что-то гениальное...

– Гаврила был царедворец и льстец, – опять раздаётся тот же насмешливый голос среди сидящих в автобусе, который не спеша катил в центр Новгорода. И вот он оказался на мосту через Волхов. На реке мы увидели стоящую около причала, почти рядом с домом юных моряков, красавицу-шхуну со свернутыми на реях парусами. Это было учебное судно.

– Вот на нем и в доме моряков мы будем проводить наш семинар, – шепнул мне всезнающий Володя по прозвищу Боцман. – Молодец, Боря, хорошо все организовал!

Еще через несколько минут автобус остановился около гостиницы, где мы должны были жить. В ее дверях стоял человек в форме железнодорожника. В его руках был злополучный толстый портфель Левы из Владика.

После обильного завтрака в ресторане мы расположились каждый в своем номере или, как мы выражались, каюте. Семинаристов разместили поплотнее, по два и три человека в номере. Они приехали из разных областей севера России, один даже из Дудинска, и с любопытством и надеждой знакомились с руководителями, от которых зависело многое. Лучших семинар мог рекомендовать для приема в Союз писателей СССР, их рукописи – для издания отдельными книгами или для публикации в альманахе «Океан». «Океан» выходил в Детгизе сотысячным тиражом, пользовался огромной популярностью среди читателей, и напечататься в нем было большой честью для любого литератора, пишущего на морскую тему.

Затем мы всей толпой отправились в областное отделение Союза писателей, которое располагалось, если мне не изменяет память, на первом этаже жилого дома, в переоборудованной «под офис» трех- или четырехкомнатной квартире. В большой комнате или в зале заседаний новгородцы оборудовали выставку из своих книг и книг, в которых рассказывалось о культуре, истории области. Из последних привлекли мое внимание монография известного исследователя древнерусской архитектуры М. Каргера «Новгород», «Старая Рус-

са» И. Вязинина, «Достоевский в Старой Руссе» Л. Рейнуса и «Время собирать камни» Владимира Солоухина, который вел у нас на Высших литературных курсах мастер-класс по прозе.

Книжечки Рейнуса и Вязинина с позволения хозяев я взял с собой в «каюту», которая была больше, чем у других. В ней были обширная прихожая и уютная спальня. Я подумал, что эти далеко не монашеские апартаменты достались мне неслучайно. Борис выделил их и для своих целей, чтобы бывать у меня в каюте в любое время и не мешать мне читать рукописи, когда он будет общаться с другими пользователями семинара в формальной и неформальной обстановке, скажем, пить свое любимое пиво с дарами Сенгилеевского озера. И действительно, в буфете, куда я поставил чемодан с вяленой рыбой, я увидел три ящика с чешским пивом. Были там и водка, и коньяк.

Я начал читать книжечку Рейнуса, как в дверь постучали. Это были Боцман и Советник, подозрительно розовощекие. Я им показал на буфет.

– Это ваша работа?

Они ухмыльнулись: «Так распорядился с разрешения Адмирала Капитан. Ты ведь у нас единственный непьющий, абстинент, значит, у тебя все будет храниться надежно. Ты будешь у нас, как и раньше, виночерпием, следить, чтобы никто не перебрал лишнего».

А затем без стука ввалился грузный бородач по прозвищу Капитан, трезвый, сосредоточен-

ный. Он велел нам быть через пятнадцать минут готовыми идти на прием в обком партии.

– Ты Словен или Рус? – спросил я у Бориса.

Он недоуменно поглядел на меня, я показал на книжку Вязинина, где в самом начале излагалась легенда об основателях Новгорода, которые пришли на берега неведомого озера с берегов Черного моря. Старший брат Словен по совету волхвов начал строить Словенск Великий, младший, Рус, основал на слиянии двух рек Руссу. А реки в честь жены и дочери назвал Полистью и Порусьей.

– Я потомок Словена, – сказал Капитан, – а ты – тмутараканцев.

3

После посещения обкома в моей «кают-компании» собрались руководители предстоящего семинара, среди которых были два переводчика стихов. Один из Литвы, другой – из Грузии. Они переводили национальных поэтов, пишущих на военно-морскую тему, и у них был свой «мастер-класс» из пяти или шести начинающих литераторов. Прозаических групп было четыре, одна из них – моя с Советником.

– Всего на семинар прибыли 37 человек, – говорил Боцман. – Пятеро не приехали. Прибывших мы разбили на семь групп. Порядок у нас был такой: подъем в семь утра, в восемь завтрак в ресторане, где все заранее оплачено. С десяти до двух обсуждали рукописи семинаристов, затем обед и после него вольное общение друг с другом, экскурсии по Новгороду. Ужин – в семь вечера.

Так мы плотно работаем по пятницу, затем подводим итоги семинара. В субботу на учебной шхуне «Волхов» отправляемся в плавание по озеру Ильмень, приходим в Устрики, от которой до Старой Руссы километров двадцать, и едем на автобусе, посещаем места, связанные с Достоевским, его дом.

И затем на автобусе едем назад до Устриков, где пересаживаемся на шхуну. На ней будет, как говорится, «всенощная» – прощальный банкет. Нам повара приготовят настоящую ильменскую уху...

– Из стерляди? – спросил кто-то.

– Возможно, из стерляди или из ситов. Будет жареный судак в яичном кляре и другая разная вкуснятина от пуза. А вот выпивка будет ограниченной, по двести пятьдесят на нос. Сухое вино или пиво по потребности. Но... не злоупотреблять! Впередсмотрящим назначен отец Сергей. Его слово – закон. Нарушителей будем бросать в озеро, пусть плывет в Новгород своим ходом. В воскресенье все разъезжаются, кому куда надо. Ясно, товарищи офицеры?

– Мне не совсем ясно, – загудел в дальнем углу Лева из Владика. – Почему такие строгости? Всегда писатели на подобных мероприятиях дело делают и бражничают. А тут и впередсмотрящего какого-то назначили... я лучше вернусь в Москву.

– Возвращайся, – рыкнул Адмирал. – Ты мне надоел, Лева!

Конечно, Лева из Владика никуда не делся и, забегая вперед, скажу, что он не просыхал всю

неделю, и мне с Советником пришлось вести и его группу, в которой оказался крайне любопытный семинарист Леонид Трубин, радист из Дудинки, написавший документальную повесть «Караван». В ней он талантливо воссоздал события далекого прошлого, период освоения Северного морского пути.

Об этом стоит рассказать подробнее.

В начале тридцатых годов прошлого столетия в Арктике царем и богом был знаменитый ученый Шмидт, который много лет горел идеей экспедиции по Северному морскому пути. И вот правительством СССР был выделен ледокольный пароход «Сибиряков», который принял известный полярник Владимир Иванович Воронин. Свой рейс «Сибиряков» начал 28 июня 1932 года из Архангельска. До этого Северным морским путем проходили только некоторые суда. Но тратили на это по два-три года. А тут надо было пройти путь в одну навигацию.

Следом за «Сибиряковым», на котором был и сам Шмидт, шел ледокол «Русанов» до Северной Земли, чтобы сменить там зимовщиков на мысе Челюскин.

Ледокол Воронина дошел до 82° северной широты и затем повернул к югу в море Лаптевых, где сутками решительно боролся с ледяными торосами, с разгона мял, крошил и колол лед.

В конце концов, пароход вышел на чистую воду, пришел в устье Лены, где его ожидал уголь, доставленный по реке из Якутска. И вот тут к капитану Воронину пришли якуты и стали про-

силь его взять их колесные речные суда на буксир для доставки в устье Колымы. Воронин возмутился: «Вы что, ребята, с дуба свалились? Ваши лоханки уйдут на дно после первых льдин из-под винта ледокола!»

Вмешался Отто Юльевич, чуть ли не приказал помочь якутами, в результате два широких неустойчивых пароходика были взяты на буксир ледоколом. Четвертого сентября «Сибиряков» вошел в бухту Амбарчик с «велосипедами» на буксире.

Вот это сравнительно небольшое плавание и описал в повести «Караван» Леонид Трубин. У него получились яркие характеры Шмидта, Воронина, капитанов «велосипедов», борьба «Сибирякова» со льдами и описания сурового океана.

Внешне Леонид, когда я с ним знакомился, напомнил мне Николая Рубцова – такой же маленький, лысый, но с поразительным характером. Он знал себе цену, ему давно помогал Романов, покровительствовал радисту из Дубинки. Был он молчалив, любил выпить, после чего становился неуправляемым, язвительным. Без шпилек в чей-либо адрес он жить не мог. Это он возражал Романову: «Ты не прав, Борис!».

Шевеля усами, Капитан говорил мне:

– У этого мужика характер ни к черту и поразительная фантазия, амбиции выше головы. Он может изобразить с помощью ловко найденных слов любую ситуацию, которую никогда не видел. У нас, моряков, ты знаешь, есть правило: что вижу, то пишу. Чего не вижу, то не пишу. Чем

силен, например, Витя Конецкий? Да тем, что он описывает действительность, ничего не выдумывая. И как легко, интересно читать тексты Конецкого.

Я согласился с ним, вспоминая одновременно Солоухина, который неоднократно говорил, что все писатели делятся на «фантазеров» и на тех, которые вынуждены довольствоваться лично пережитым, фактическим материалом. Первые легко строят, создают сюжеты, выдумывают для своих героев невероятные ситуации и с честью выходят из них. Их большинство, они многотомны. Это Бальзак, Дюма, Гоголь, Достоевский или тот же Джек Лондон... Вторые знают, что заменить действительность вымыслом они не в состоянии. Да и не хотят этого делать. К ним можно отнести Экзюпери, Хемингуэя, Герцена, Куприна, Бунина или Паустовского.

– И мы с тобою такие же, – говорил Капитан, – хотя я, прочитав рассказ «Возвращение Джона Хилтона», удивился буйству твоей фантазии. Откуда это у тебя?

– Я, Борис, начинал как фантаст, – сказал я. – А потом понял, как и Толстой, что когда-либо писатели, наверное, перестанут сочинять свои рассказы, повести, романы, станут описывать жизнь такой, какая она есть. Но... лично мне порой очень нравится переплетать выдуманное с пережитым, увиденным. И твой Леонид в повести «Караван» взял сюжет из жизни, простенький в общем, а детали блестяще выдумал. Скажем, размовку Шмидта с Ворониным, когда отрыва-

ется с буксира один из «велосипедов», начинает тонуть – этого не было в реальности, – и Воронин хочет в ярости сбросить ученого с борта ледокола, кричит: «Спасай своих якутов!» Но тут случайно появляется матрос, не дает случиться беде... а потом выясняется, что трос лопнул. А он не лопнул. И ведь читатель верит этому!

У Леонида Трубина какое-то кинематографическое зрение, он мыслит скачками, кадрами, смещает их, пишет картины не кисточкой, а кистью и даже шваброй, вдохновенно, так, как ему угодно, как будто он Бог, создавший этот видимый мир: «Да будет свет. И стал свет... Да будет твердь...» И так далее.

– Его повесть – цветочки, – после раздумья сказал Романов. – Ты почитай рассказы о писателях, которые никто не хочет печатать. Один московский рецензент, прочитав их, написал, что Трубин начал с того, чем нормальные писатели обычно заканчивают свой жизненный путь – размышлениями о природе творчества. Он берет действительный факт, надевает на себя маску героя – будь это великий поэт или прозаик – и импровизирует, создает рассказ без всякой научной обоснованности, все строит на вымысле. Он великий мастер монтажа и блестяще владеет языком. Тебе лучше прочитать хотя бы один из рассказов Трубина о великих писателях. У него их несколько штук, их некоторые преподаватели ВГИКа из числа режиссеров, у которых он учится, считают любопытными. Вот один из них, под названием «Игрок». Кстати, он о Достоевском.

С моей точки зрения, это не совсем рассказ, а скорее набросок сценария для возможного фильма. В нем есть такие сцены, такие фразы, что закачаешься. Некоторые из них просто гениальны, скажем, сцена, где Достоевский берет у Анны Григорьевны обручальное кольцо и проигрывает его в казино, как свое перед этим... Леонид, если не сгорит от выпивки и от своего одиночества, может стать очень заметным писателем, нас всех переплюнет.

4

«Достоевский проигрывал. Он хотел поставить на точный, как ему привиделось, номер, но под руку что-то сказали. Он дернул плечом, испугался и переменял игру.

Выиграл номер.

Достоевский в бешенстве отошел к окну глотнуть свежего воздуха. Тут же решительно вернулся и повторил игру. Номер выиграл.

Он повторил опять на него.

Окаменели десятки глаз при виде такого безумства – третий раз повторять игру. Впрочем, русские в игре нерасчетливы.

Выиграл номер.

Перед русским на зеленом сукне разлилась золотая лужа монет. Он вспомнил, как однажды выиграл в рулетку одиннадцать тысяч франков – целое состояние, – и теперь пошел ва-банк, чтобы разом забрать все, покрыть прошлые проигрыши, расплатиться по векселям, остаться при своих и навсегда прекратить игру, как обещано

жене еще в Баден-Бадене, когда там проигрался в пух и прах. Игра...

Напряженно блестели лбы. Дыхание вокруг прекратилось. Пламя свечей замерло.

Сделана...

Костяная позолоченная лопаточка крупье отгребала золотое озерко от русского в сторону однорукого моряка с черной лентой на правом глазу.

В проигравшем сильнее обозначилась студенческая сутулость. На сером, пережатой бронзы лице проступили угольные точки. Желтоватые келейные пальцы скребли шейный платок.

Он начинал признавать справедливость вынесенного ему в молодости смертного приговора, замененного уже на эшафоте каторгой, о которой позже скажет: «Меня каторга спасла».

Но скажите по чести, господа издатели, справедливо ли платить ему за лист сто пятьдесят рублей, а тому же Ивану Тургеневу или Льву Толстому по четыреста и пятьсот, когда они имеют обширные поместья, дающие им возможность работать не спеша, не за кусок хлеба. Он же всю жизнь пишет, как на пожаре, как газетный репортер. За считанные дни продиктовал «Игрока» и час в час сдал рукопись полицейскому представу, поскольку издатель Стелловский, известный жулик, с которым писатель вынужден был заключить соглашение, в момент истечения срока... исчез. Диктовал же Анне Григорьевне, на которой вскоре женился.

Достоевский проигрывал.

А пока воспоминания о Некрасове, как и о Тургеневе, Белинском, ему неприятны. Именно Некрасов и Тургенев, блестящие мастера в пушкинском цехе поэтов, написали отвратительный пасквиль в стихах на Достоевского. Объявив его новой звездой, «великим талантом, что пойдет далее Гоголя», Некрасов и Белинский жестоко затем издевались в салонах и журналах над «гениальностью автора «Двойника» и «Господина Прохарчина».

Сейчас, в казино, он ненавидел себя – ведь только бы остановиться на выигрыше, не заглядывать в пропасть!

Еще в Висбадене, до женитьбы, уже был на краю пропасти и пошел на унижение: при содействии играющего по маленькой Ивана Гончарова, величайшего романиста, впоследствии главного цензора Российской империи, он обратился с унижительной просьбой – хорошо, что запиской, на расстоянии – к Ивану Тургеневу одолжить сто талеров, чтобы погасить счета в гостинице и уехать на родину.

Сам Гончаров дать не мог – одалживать во время игры не рекомендуется, можно привлечь проигрыш, а когда игра кончилась, Гончаров был сильно не в духе, подозревая шулерство в казино.

Деньги Тургенев прислал утром, пятьдесят талеров, Достоевский тут же отослал ему расписку.

Подруги тех дней Сусловой дома не было, ушла под предлогом каких-то визитов, хотя он отлично сознавал, что ей стыдно оставаться в гостинице, где задолжали.

Чувствуя дрожь и неотвратимость судьбы, Федор Михайлович прошмыгнул мимо слуг гостиницы и, как бедный петербургский чиновник, задыхаясь, вбежал в игорный дом.

– Господа, делайте вашу игру! – монотонно повторял крупье.

Играл осторожно, полагался на расчет – хотя какой расчет у прыгающего шарика? – и выигрывал.

Сумма тургеневских талеров удвоилась... Учет верилась... Играть по маленькой не было смысла. Да и спешить надо домой. Вот сейчас сорвать крупный банк и остановиться...

– Игра сделана! – крупье отгреб в сторону талеры Достоевского.

И снова петлей захлестнула жуткая российская несправедливость, хотя казино тут ни при чем.

А проза житейская, бытовые дразги!

Впоследствии впалые щеки Федора Михайловича проест жгучая плесень стыда за людей даже высшего порядка; знаменитый писатель Иван Тургенев будет требовать с Достоевского не пятьдесят, а сто талеров, кои талеры якобы тот Иван Тургенев выслал означенному просителю. Слава богу, сохранилась расписка, и дело уладилось. Тургенева подвела память, зоркая на прочитанные слова: в письме Достоевский точно просил сто талеров. Слово для писателя и есть дело – не столько любить, сколько сказать о любви, откровенней, ярче, по-новому.

В будущем на открытие Пушкинского памятника съедется весь культурный мир собственно

слышать, видеть, чествовать Тургенева, а попадет на торжество Достоевского – тут он выиграл, – речь которого затмит все говорения и речи, в том числе и Тургенева.

А Лев Николаевич на открытие памятника не явится, избегая всяческой мирской суеты, и, наверное, до конца дней будет чувствовать в сердце сквозную рану.

Страшно сказать, они никогда не встретятся, Достоевский и Толстой, хотя были современниками; однажды целый вечер провели в одном доме, но Федор Михайлович этого не знал и сильно горевал после, а граф Толстой уже мало замечал людей, интересуясь судьбами мужиков, надрывно переживая драмы угасающего дворянства.

Лишь смерть Достоевского заставит Толстого содрогнуться от невосполнимой потери и пролить слезу горечи, да и то в частном письме. А ведь все они – и Белинский, и Некрасов, и Тургенев, и Толстой, и Достоевский – братья одной великой литературной шеренги, солдаты Пушкина, наследники Лермонтова.

Достоевский проигрывал.

5

При жизни он не имел того достатка и славы, которые выпали на долю вселенского патриарха Толстого.

Поразительно: Достоевскому судьба не только дала лучшую из жен – тут он выиграл, – но и фамилия жены словно выхвачена из его же про-

изведений. Не Раевская, не Голицына или Долгорукая, а Сниткина – сословие бедных людей.

Уже отмечено его родство с Западом – готический стиль устремлений, напряженная драматургичность, философская близость к Шекспиру и Сервантесу. Но его язычески тянет в Азию, где он пережил злосчастную любовь, где однажды его заковали в кандалы. Там, в Мертвом доме, увидел он жизнь, скованную пороком и железом, – и нет более светлой книги в его творчестве, чем «Записки из Мертвого дома», хотя эта книга о каторге.

Как он рвался с поселения назад, в Россию! В дождливую слякоть Петербурга, центр умственной жизни бескрайней империи. В Петербурге же стал мечтать о Западе, Европе. А теперь, в Бадене, в казино, в пылающем мозгу снова – широкая полусонная Азия...

Медленно тянутся там ковыльные дни. Люди ищут воду, дышат ароматом новых пастбищ и, съезжая по осени на зимние стоянки, оставляют в побуревшей степи ярко-зеленые круги – следы юрт. Зимой гудит ураганный ветер, метут снега, в юрте жар костра, в котел заложена конина, близко рыскают волки и барсы, случаются грабежи, жизнь не меняется веками, подчинённая желудку.

Сердцу же надобно жить в России. Разуму – в Европе. Он человек сердца, и он удивляется, как гениальному замыслу, мысли ехать домой, в Петербург, в Москву...

Он вздрогнул: да ведь уже решено ехать домой, он уже и билеты пошел брать, да по пути свернул в казино – как когда-то в Висбадене...

И оттягивает час возмездия, продолжает думать о другом, наблюдая игру.

У каждого поэта есть своя Беатриче, сладкая и кровавая каторга любви. Была и у него эта каторга, на которую он попал с каторги царской. Потом – в еще более страшную кабалу к женщине, то мечтавшей убить императора, то создать государство свободных колонистов на островах, то отравиться, и которая отдалась в Париже импозантному испанцу за день до приезда ожидаемого ею Достоевского, с великим тщанием поспешавшего на свидание с любимой, Полиной Сусловой.

Цепи этой каторги, казалось, были несокрушимы. Но пали и они, срезанные короткими и прямыми лучами глаз Анны Григорьевны. Еще он бросится к старым цепям – и тут же сам посмеется. Рубцы, однако, в сердце останутся.

Несколько повышенное влечение к юным и беззащитным особам слабого пола выльется чернилами с пера.

Вереница его жгучих влюбленностей: Авдотья Панаева, жена писателя-демократа, Маша Исаева – его сибирская жена, Полина Сулова – мучительница, Марфа Браун – бродяга мира, Анна Корвин-Круковская – рыцарственная женщина (ее сестра Софья Ковалевская любила его детской любовью), и, наконец, племянница Соня...

Прыгал шарик. Звенело на сукне золото, ничье и каждого – как распорядится слепая фортуна.

...Он умолил старуху в желтоватых кружевах с орлиным профилем галльских королей взять у него в заклад серебряные часы с цепочкой.

Делая это, он нисколько не рассчитывал на выигрыш. И точно: полученные талеры скользнули в засаленный карман блузы лысого француза с тремя бородавками на багровом лице – пекаря или колбасника.

Свечи оплывали, бросая весь свой свет на зеленый стол и монеты. Новые игроки бесцеремонно потеснили русского.

Ему показалось, что в полутьме гардеробной мелькнуло платье Анны Григорьевны. Нет! Он не пойдет в гостиницу. Бежать, скрыться, хоть в пучине морской. Это ужасно: быть учителем жизни и проигрывать семейные деньги! Он не достоин жить с Анной Григорьевной!

И не мог уйти из этого каторжного вдвойне игорного дома, хотя не имел никаких надежд.

Как все творцы, великие или малые, он всегда стремился сказать свое, новое слово.

Человек, который может сказать новое слово, должен прожить тысячи жизней в любой отрезок данного ему времени.

О проповедниках древности Достоевский помнил всегда, будь то Моисей, Христос, Магомет или Митра. С ними он связывал и великих художников нового времени. И сам создавал не просто художественные картины жизни, но художественные учения; пришел в мучительной, сжигающей себя работе к последнему, высшему закону творчества: пророчеству.

Его любимым поэтом останется Пушкин, настольной книгой – «Дон Кихот». Он создаст

русского Дон Кихота, князя Мышкина, которого так же, как и испанского идадьго, считали обычным сумасшедшим, а это было безумие людей не от мира сего. Книгу Сервантеса он считал возможным показать небу как отчет о жизни на Земле. Обычное занятие земных рыцарей всех времен – война, грабеж, насилие. Именно против этого выступает Дон Кихот, победить ему не дано, но выступать он не перестанет.

Художеств вне пророчества Достоевский не признавал – нет смысла в творчестве, если не ставить коренные вопросы бытия и не возвещать народу о жизни лучшей, доброй, здоровой. Образ Дон Кихота возвещен как пророчество. В пророчествах сам он будет впадать в заблуждения. Главной станет панславянская идея русского народа-богоносца, вернувшегося в Константинополь, чтобы вести оттуда все народы в лоно праведной жизни. Сначала были русичи, потом Русь, из нее Россия, дальше нужна Славяния. Борьба с «бесами», золотушными студентами, «выдумывающими» революции. Православие, монархия, смирение – ключи от райских врат на Земле. Тут он проигрывал, смотрел назад, донкихотствовал, в отрицательном смысле – ведь и добряк Дон Кихот порой творил зло своими благонамеренными подвигами.

Но и не следует его пророчества толковать как прямые указания или буквальные предвидения, хотя он, например, точно назвал день своей смерти: утром сказал Анне Григорьевне, что умрет сегодня, и умер в этот день.

Как быть пророком в личине писателя в век науки, техники, практицизма, когда философия уступила место политике, а вера – философии?

Да все так же: страдать и заставлять людей проникаться смыслом страданий.

В человеке, в силу его животной сущности, заложено инстинктивное злое – и отобрать это нельзя, не разрушив человека. Путем страданий человек сумел стать Дон Кихотом – развил в себе доброе. Надо постоянно поддерживать огонь страданий, чтобы выжигать им злое по мере его роста, приближать доброе к его божественной сущности.

Ему будут возражать: страдание-де озлобляет, ожесточает, что человек и так добр по природе – и впадут в обожествление человека, станут по существу религиозными, подобно Фейербаху с его религией человеческой любви.

Он ответит, что ожесточает физическое страдание, а высшее, духовное, просветляет, ведь очищали же душу древние греки трагедией, катарсисом страданий. Он имел право говорить так, ибо это он заявил, что не хотел бы заплатить за благоденствие всего человечества и одной слезой ребенка.

Говорили, что в своем стремлении глубже проникнуть в природу человека, он как бы сам творил злое, как соучастник дьявола.

Он действительно показывал человека так глубоко, что просвечивалась вся кровеносная система духа, все тончайшие капилляры мысли и чувства. Не его вина, что в такой глубине доброе лежит в обнимку со злым.

По каменистым дорогам бытия, по гулким мостовым хмурого города, по кочкам солнечных проселков, в стране солдатчины и барства, Чичиковых и юродивых, гениев и преступников застучит увереннее и громче железный посох пророка.

Но когда он уже напишет романы «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы» и создаст венец своей творческой жизни «Дневник писателя», то критики все еще будут вспоминать «Бедных людей», не замечая или оплевывая гигантскую готику его новых соборов, прорезавших шпильями бескрайность веков будущего.

Но и там, впереди, в готическом тумане, – гулкая поступь вечных вопросов бытия, неразрешимая загадка добра и зла, бога и дьявола, прочно засевших в человеке. И высший творческий закон – пророчество – станет доминирующим...

– Господа, казино делает приборку, антракт два часа!

Он вышел, забыв свою шляпу на вешалке. В темноте его обвили милые руки. В сознании мелькнули образы мучителя-мужа и кроткой жены, его родителей, да и он, видно, недалеко ушел от них.

Анна Григорьевна пыталась скрыть на лице испуг, растерянность и печаль, старалась держаться дальше от фонарей. Он же хотел, чтобы она никогда не простила его, желая вернуться в рабочую каторгу писательского стола.

Утром, после завтрака, Анна Григорьевна предложила прогулку. Он согласился и взял

с собой Диккенса. Что касается денег, то ей уже выслали из России.

Проходя мимо игорного дома, Федор Михайлович не почувствовал ни тяги к игре, ни отвращения. Этот мертвый дом был ему неинтересен, как чуждый пейзаж. Он удивился бы до крайности, если бы ему предложили играть. Туча пронеслась. Как запой. Как болезнь. Лишь оставалось подавленное состояние духа, досада – не за проигрыш, а за то, что из творца он вновь, в рулетке, превратился в персонажа, скульптор стал глиной.

Накрапывал дождь. Ему стало стыдно перед женой, что он забыл в казино шляпу, не проиграл же он ее! И не сказав, что идет за шляпой, молча и быстро свернул в казино.

Анна Григорьевна бестрепетно пошла дальше.

Гардероб был заперт. Из залы ему кивнул Гончаров, подзывая к себе.

– У вас легкая рука, – сказал Гончаров. – На какой ставить?

Достоевский, не думая, назвал.

Иван Александрович выиграл.

Достоевский шутя называл новые номера. Гончаров выигрывал крупные куши и, вдруг спохватившись, спросил:

– Да вы-то, батенька, чего не ставите?

Достоевский побледнел страшно, как перед припадком.

Блеск золота, гул в зале, сладостное покалывание азарта. Нет, не ради материализма – выиграть схватку, как рыцарь на турнире со смертью. Конечно, нужны и деньги... Унизительно ждать

денег родственников жены, ведь он гигант в сравнении с ними, а будет состоять жалким иждивенцем... Вот... Сейчас... Не может быть...

Золотым ручейком текла перед ним полоса везения...

Он снял с руки венчальное кольцо.

Досадная помеха – проигрыш. Нужно немедленно ставить снова, пока идет полоса.

Он выбежал на аллею, упал на колени перед Анной Григорьевной. Она покорно и просто отдала ему свое золотое кольцо.

Выигрыш...

Еще...

Ставки удвоены...

Банк!

Дрожащей рукой, не дожидаясь крупье, Достоевский сгрэбал золото к себе.

Играть не хотелось – туча пронеслась. Но поставил последний раз – все.

Взял!

Еще раз.

Господи, что же это такое, да ведь так можно на всю жизнь отыгаться!

Еще на все!

Выиграл!

И, словно злясь на выигрыш, ведь он не хотел играть, снова поставил все.

– Уходите! – прошептал Гончаров. – Это невозможно!

– Игра сделана!

– Остановитесь или я вас зарублю! – схватился за кортик итальянский генерал.

– На все! – с пеной на синеющих губах сказал русский, к которому крупье сгреб новые тысячи.

Старуха в кружевах упала в обморок. Гончаров крестился.

– Делайте ставки, господа! – дрожал в ознобе привыкший ко всему крупье.

Золото звякнуло... Шарик прыгнул...

Он уже знал, что ставка его бита. Знал до того, как шарик остановился. И судорожно снял с пальца женино кольцо. Бросил на стол.

А двадцать пар глаз еще наливались страстью ужаса и сладости жизни, и смерти.

В голове лихорадочно роились цифры, слова. Ага, теперь он не будет простаком, теперь-то он знает, когда остановиться.

Как мучительно долго крупье отгребает от него золото и серебро – и то сказать: целая гряда, тысяч двадцать.

Как у всякого игрока, у него были свой расчет и логика, приметы и предчувствия. Сейчас он до мельчайших подробностей почувствовал будущую игру и свое место в ней. После спада долго поднимающейся волны грядет еще более высокий гребень – и в этот миг он оседлает его, ловкий пловец, и направится на гребне прямо к берегам, к Анне Григорьевне, с тяжкими, отдувающимися карманами.

Он не учел одного: его первая ставка была бита сразу. Второе кольцо уплыло в засаленный карман француза, пекаря или колбасника.

Венчальные кольца! Символ чистоты, верности и вечности в браке двух любящих душ, на

краткий миг соединившихся в солнечном луче жизни!..

И только на пальце останется след обручального кольца – узкая белая полоска.

Почувствовать проигрыш он не успел. Кто-то подхватил его на руки, кажется, итальянец с кортиком, кто-то держал ноги – внезапно начался припадок падучей, которой он страдал всю жизнь...

Очнулся в гостинице. Первое, что вспомнил, вчерашние мысли о творчестве, о миссии художника, которые приходили к нему в момент игры. Может, потому и играл удачно, с русской широтой, что главный, нетленный выигрыш был давно при нем.

– Тебе лучше? – спросила Анна Григорьевна. Он стыдился припадков, не любил о них говорить и вспоминать.

– Почитай мне еще рассказ священника у Диккенса...

Она читала. Потом он выпил кофе. Посидел на веранде, любуясь панорамой. Попросил бульона и стакан портвейна. После обеда сел к столу. Анна Григорьевна увидела его блестящие глаза, бескровные губы, но была спокойна – это другой припадок, творческий. Она вышла и тихо прикрыла дверь.

Как всегда, ему казалось, что раньше не писалось так легко, живо и точно.

Бьется в приступах гениальности Достоевский.

Тут он выигрывал.

– Вам понравился мой рассказ? – спросил Трубин, когда он робко, как тень, появился в моей «кают-компании» и так же робко присел на край стула.

– Да, – ответил я честно. – Ты, Леонид, неповторим. Но я не гений, чтобы судить твою прозу. Думаю, что ты не один раз прочитал произведения Достоевского и «Воспоминания» его жены Анны Григорьевны, бесхитростные, но удивительно глубокие. Девочка была, а понимала Федора Михайловича, как мать – ребенка, с полуслова, дополняла его. Вот уж точно они были двумя половинками, нашедшими друг друга, которые слились в нечто единое.

Трубин внезапно стал как бы выше ростом, плотно слился со стулом, который даже заскрипел под его тяжестью, и заговорил, пристально глядя мне в глаза:

– Согласен с вами. Жизнь Достоевского до встречи со Сниткиной была только предисловием, быть может, наименее понятной частью его жизни. Лишь с Анной Григорьевной он стал гением, выплеснулся стопроцентно, полностью и все лучшее написал в Старой Руссе.

Ему было за сорок, в его подсознании дремали «Подросток», «Дневник писателя», «Идиот», «Бесы» и ни с чем не сравнимые «Братья Карамазовы».

И когда я это понял, у меня появилась необходимость написать о Федоре Михайловиче. Я тре-

петал перед его именем, понимал, что нельзя писать о нем, «слизывая пыль с его сапог и лежа перед ним на пузе». Нельзя набиваться к нему в равные собеседники. Но я понял, что мой рассказ должен стать духовным монологом самого героя. Лучше всего о Достоевском рассказал сам Достоевский или... Анна Григорьевна. Но она была пятнадцать лет рядом с ним, а я что? Я даже родился через сто лет после их встречи, не видел Европу, не бывал в казино, не общался, как он, с Некрасовым или Гончаровым... У меня нет полного знания той жизни. Но я видел Северное сияние, звезды в Арктике и льды, льды! Зимовал на Шпицбергене, на острове Врангеля и в длинные арктические ночи читал книги великих писателей. У меня не было невозможности писать о Достоевском. Я написал о нем и других великих лишь из протеста против плохих или средних, что одно и то же. Но протесты – слишком шаткие мостки для перехода над такими звездными глубинами. Я, как помню, не перешел, сдрейфил, отступил и стал жить надеждой, что вернусь к своим рассказам. И даже сочинил эпиграммку:

«Пиши хоть до скончания света – бумага стерпит. И однако – напаялил волчью шкуру Фета, а пахнет все-таки собакой».

Автором пахнет, иначе – мною. Напоминаю: в книгах Достоевского этот запах автора таков, хоть противогаз надевай, и это отлично. Но когда герой – Достоевский, аромат личности автора неуместен, хотя этот аромат неизбежен.

Читателю важен сам волк, поведавший нечто такое, чего мы не знали раньше. А узнать волка просто: у нас есть эталон – его творчество. Поэтому я хотел бы, чтобы читатели моих рассказов о писателях не судили о них, как некоторые критики, ставя мне в вину придумывание, предлагая – в лучшем случае – отнести их литературоведам, пусть, мол, они завизируют, что все ты написал правильно. Они знают о жизни, скажем, Есенина или Лермонтова все. И если я написал все правильно, документально точно, скажем, о Достоевском, то я лишь переписчик. А я – выдумщик!

В «Хаджи-Мурате» Толстой выдумал своего Николая Первого, и он, с моей читательской точки зрения, точен, но не совпадает с реальным царем, которого описал Герцен и который ничего не придумал, лишь озаряя действительность светом своего понимания. У Герцена в «Былом и думах» Николай лишен честолюбия. Я верю Александру Ивановичу, но с огромным удовольствием перечитываю художественную повесть Льва Николаевича, где только в одном абзаце с предельной точностью дана оценка и сущность всякого культа личности, творимого не самой личностью, а людьми, окружающими ее.

Когда я писал о Достоевском, я был в эти часы Достоевским, другого пути у меня не было. И писал с одной целью: возбудить у читателей желание читать самого Достоевского, вырубить свои ступеньки в отвесных скалах его книг, сделать попытку взобраться на его снежные пики.

Да, я старался экранизировать проигрыш Достоевского в казино, остальное в рассказе – всё выдуманное мною, судить о нем читателю. Да, я, будучи студентом ВГИКа, хочу быть не только сценаристом, но и режиссером своих возможных фильмов. Мне надоело быть радистом, передавать чужие тексты, приказы, сводки погоды другому радисту. Я хочу быть творцом, но получится ли это у меня, не знаю. Я хочу увидеть свои произведения напечатанными, но...

Забегая вперед, скажу, что у Леонида Трубина жизнь сложилась не так, как он хотел. Да, он издал рассказы отдельной книгой, напечатал повесть «Караван» в журнале. О нем заговорили как о восходящей звезде на литературном небосклоне. Но через несколько лет он неожиданно умер от инфаркта в своей Дудинке. Об этом я узнал от его подруги, когда был на последнем съезде Союза писателей СССР.

Съезд проходил в начале лета в старом Доме кино, напротив Центрального дома литераторов. Был он бурным и закончился расколом среди писателей. Я оказался среди тех, кто покинул съезд, потому что примыкал к демократам, был членом ассоциации «Апрель», которая затем стала ядром Союза российских писателей.

Дело было так. Я вышел из зала заседаний в фойе, чтобы перекурить, и вдруг увидел... Снежану! Да, ту самую, которая более десяти лет назад была на дне рождения нашего старосты, а затем появилась в моей комнате и так талантливо разыграла меня, что я почти поверил ей.

– Отец Сергей! – кинулась обнимать меня болгарская актриса. – Ваша борода стала совсем белой. Узнаете меня? Родной вы мой!

Не узнать Снежану было невозможно. Она осталась почти такой, какой была в юности, только стала чуть более дородной и с явной грустью в карих глазах. Оказывается, после окончания института кинематографии она не уехала в Болгарию, поступила в аспирантуру, стала преподавать во ВГИКе и познакомилась со студентом Леонидом Трубиным. Их знакомство переросло в нечто большее. Маленький невзрачный радист прочно влюбился в красавицу Снежану и добился своего. Болгарка в конце концов оценила необычный внутренний мир, талант Трубина и стала его близкой подругой. «Мы были, конечно, разные, – рассказывала Снежана, – не только внешне. Я быстро устала от его запоев и ревности. Мешало и то, что он жил чуть ли не в тундре, довольствовался немногим, а я была столичной дамой, любила и люблю общество, в котором мне хотелось блистать, быть в центре внимания. Знаю, после новгородского семинара Леню приняли в Союз писателей, вышла его книга рассказов. Почти по каждому рассказу можно было снимать фильм, но для этого нужны были деньги, заинтересованные режиссеры... Леня же был пешкой, хотя и очень перспективной. Я долго верила, что он станет фигурой, ферзем, но шли годы, и ничего в его жизни особенно не менялось. Он прозябал в своей Арктике, в Москву не хотел переезжать, потому что всегда боялся столичной

суеты. «Я в Москве, Снежок, – так он меня называл, – потеряюсь, перестану быть самим собой. Если писатель, то периферийный, как Достоевский, который нашел покой лишь в Старой Руссе в кругу семьи». И звал меня в свою белую безмолвную тундру, где отошел в вечность. А я вот печалюсь, отец Сергей, может, и надо было мне уехать к нему, стать его женой? Я, поверьте, не могу забыть его, всегда душевно напряженного, ищущего что-то в таких высотах, где обычному человеку, как я, никогда не бывать».

И Снежана заплакала, положив голову на мое плечо. Она плакала искренне...

Да, Леонид, сверкнул ты, как молния в ночи. Всего несколько дней я общался с тобой, прочитал, быть может, «по диагонали» твои рукописи, а память о тебе осталась навсегда. И Снежана, чувствую, никогда не забудет тебя. Прости ее за то, что она не согласилась жить с тобой в тундре, где ночь длится месяцами, сияют в небе чудные сполохи. Наверное, так было угодно Богу... а если она, любимая, была бы рядом с тобой? Я, ставший до конца жизни холостяком, воистину отцом Сергием, все же с тоской думаю, что это не совсем нормально, что семейная жизнь обладает огромной этической ценностью и формирует характер писателя. Именно в семье созрел гений Достоевского. А Лев Толстой? А я, став аскетом, где и для чего зрею, живу?

Анна Григорьевна была не просто женщиной, но музой, посланной Федору Михайловичу свыше. Так считал Трубин, дотошно перечисливший

вереницу «его жгучих влюбленностей: Авдотья Панаева, жена писателя-демократа, Маша Исаева – его сибирская жена, Полина Суслова – мучительница, Марфа Браун – бродяга мира, Анна Корвин-Круковская – рыцарственная женщина (ее сестра Софья Ковалевская любила его детской любовью) и, наконец, племянница Соня...»

А покой он нашел с Анной Сниткиной, которую и красавицей назвать трудно. Лишь с годами, в старости, она обрела патрициановскую красоту, когда писала в альбоме пришедших к ней молодых людей: «Солнце моей жизни – Федор Достоевский». Как она, девочка в сущности, вытерпела то, что ее муж однажды выбежал из казино, упал, как написал Трубин в рассказе, на колени перед Анной Григорьевной. Она покорно и просто отдала ему свое золотое кольцо. А свое он перед этим проиграл... И «второе кольцо уплыло в засаленный карман француза, пекаря или колбасника».

«Венчальные кольца! Символ чистоты, верности и вечности в браке двух любящих душ, на краткий миг соединившихся в солнечном луче жизни!..» Анна Григорьевна ни единым словом не упрекнула мужа, который был в два раза старше ее и во много раз умнее.

На одном из обсуждений сборника рассказов Трубина, как мне рассказывали, был некий литературовед и специалист по Федору Достоевскому. И он обрушился на автора за «придумывания», за то, что Федор Михайлович «выбежал из казино», взял «на аллее» золотое кольцо жены. Этого не было в жизни, утверждал литературо-

вед. А если было, то все не так. Анна Григорьевна сидела дома с маленькой дочерью, а не ждала мужа у входа в казино.

– А вы правы, – сказал с улыбкой Леонид Обличителю. – Но я более правдив!

Анна Григорьевна лишь в конце своей жизни написала воспоминания. Возможно, подобное хотела сделать и Снежана, но не успела. Немногие подруги и жены писателей оставили людям свои правдивые воспоминания. Но многие получили дурную славу, как Ксантиппа, которая, возможно, никогда не существовала, но осталась на века образ злюки, сварливой жены, которую почему-то терпел около себя Сократ.

Лишь в наше время зазвучали голоса писательских жен. «Увы! Как было бы хорошо, – пишет поляк Ян Парандовский, – если бы некоторые из них хранили молчание. Например, Джесси Конрад, выпустившая толстый том воспоминаний о совместной жизни с великим писателем. Нужно немалое усилие, чтобы прочитать эту болтовню посредственной женщины. То, что делают почти все вдовы в тесном кругу, Джесси решила рассказать многотысячной массе читателей, а именно, оговорить покойного мужа. Она дает почти карикатурный образ человека, нервного, рассеянного, эгоистичного, мучимого всякими недугами».

Совсем иное мы видим в воспоминаниях Анны Достоевской. Ее воспоминания – сдержанные, искренние и проникнутые нежностью, любовью, Анна Григорьевна тоже обладала литературным

талантом, добавим – весьма скромным. Но читатели видят, как она преобразила талантливого писателя, разбудила в нем невероятные способности, стала его ангелом-хранителем чуть ли не с первого дня их знакомства. Лишь однажды она позволила похвалить себя словами Льва Толстого, который сказал ей: «Я именно такую, как вы, и представлял себе жену Достоевского».

Она после этого напишет: «Конечно, между мужем и мною не было никакого сходства, но ничем Толстой не мог бы доставить мне большей радости, сказав сущую неправду, что я похожа на моего незабвенного мужа. Граф как-то сразу сделался мне близким и родным».

От себя добавлю, Анна Григорьевна была, наверное, лучшей из писательских жен. Великой женой!

7

Достоевский попал в ловушку, стал жертвой хитроумного издателя Стелловского.

«Этот змей-искуситель меня так просто не помилует», – с тоской думал Федор Михайлович. И от тяжких мыслей у него начала болеть голова, а потом... что потом? Как обычно, припадок. Начнет он извиваться всем телом, потеряет сознание, унесется душа его в звенящую даль: «Как же так получилось, что я не разобрался в ласковом Федоре Тимофеевиче?»

Стелловского, ловкого эксплуататора многих русских литераторов и музыкантов, знал весь Петербург. В его сетях побывали Писемский,

Крестовский, Глинка и многие другие. И это знал Федор Михайлович, но после смерти своего старшего брата Михаила, приняв на себя все долги по журналу «Время», был доведен до отчаяния. Кредиторы достали писателя, как говорится, до печенок, грозили описать его имущество, посадить в долговое отделение...

В дверь кабинета кто-то настойчиво постучал. По стуку Достоевский понял, что это не робкая служанка Федосья, а скорее всего пасынок Павел, жгучий и нахальный брютет, который был как камень на шее писателя. Ему всегда нужны были деньги.

– Заходи, Павел, – сердитым голосом сказал Федор Михайлович, глянул на портрет матери пасынка, перекрестился. Он почему-то всегда чувствовал себя виноватым перед покойной женой и потому всегда выполнял просьбы пасынка, давал ему деньги, порой закладывая, скажем, свою шубу или фамильные драгоценности.

Паша зашел в парадном костюме и в синих очках.

– Отец, мне срочно нужно пятьдесят рублей!

Печальный вид «отца» несколько не смутил молодого бездельника. И знал ведь он, стервец, что «отца» могут не сегодня, так завтра посадить в долговое отделение и держать там его до тех пор, пока сердобольные друзья не выкупят векселя.

– У меня, Павлуша, в наличии только тридцать, – сказал Достоевский и вытащил из ящика деньги.

– Пока обойдусь, но через два дня отдадите остальные.

И тут порадовался писатель, что заключил со Стелловским контракт, согласно которому Федор Михайлович продал издателю свои права на издание трехтомника за три тысячи рублей и тот уплатил долги брата. Одно плохо, зачем он согласился в счет той же суммы написать новый роман листов на 7–10?

– Павлуша, через два дня остальные не смогу тебе дать.

– Займите у кого-нибудь, ведь не первый раз вы это делаете?

Достоевский махнул рукой, мол, иди, будет по-твоему и глянул на календарь. До первого ноября 1866 года оставалось меньше месяца. Друзья, желая выручить его из беды, предложили ему составить план романа. А затем каждый возьмет на себя часть романа, и втроем-вчетвером они успеют кончить работу к сроку. Федору Михайловичу оставалось бы только отредактировать текст, сгладить возможные нестыковки, внести неповторимость своего стиля.

Достоевский отказался от такого предложения.

– Я не поставлю свое имя под чужими текстами. Я не Дюма, который, говорят, нанимал литературных негров. Стыдно это делать, я лучше уплачу неустойку.

И тут Александр Петрович Милюков вспомнил, что ему знаком преподаватель стенографии некий Ольхов. А если прибегнуть к помощи сте-

нографистки? Ведь диктовать легче, чем писать пером на бумаге. «Соглашайся, Федор Михайлович!»

И он, тяжело вздыхая, согласился. Где только наши не пропадали? И не пропали даже в Альпах, если впереди был сам Суворов.

Золотой Ставрополь

Я родился более семидесяти лет тому назад с одной странностью, которую у других людей не замечал. У меня сильно развито цветовое ощущение времени, все дни моей жизни как-то окрашены. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в Ставрополе, а раннее детство на родине отца, в Пржевальске, который недавно отделившиеся от нас киргизы переименовали в Караколь, что в переводе на русский означает Черная Пасть. Этот город расположен на входе в ущелье, из которого вырывается горная река и впадает в Иссык-Куль, в залив имени Пржевальского. Огромное озеро на высоте двух километров окружают со всех четырех сторон хребты Ала-Тоо, иначе – Золотые горы.

Казалось, что я должен бы воспринимать именно Пржевальск в золотистом цвете, но нет. Он для меня голубой. А вот Ставрополь – золотой! Это цвет радости, изобилия, спеющих пшеничных полей, подсолнухов, зреющей кукурузы и, вообще, полноты жизни. Хотя золотых дней, если честно, в городе Креста у меня было негусто. Но они были в детстве, юности, особенно в периоды, когда я влюблялся...

На родину матери мы приехали в 1944 году. Тут тоже горы, только много ниже, чем в Киргизии. Вначале мы жили на улице Второй Октябрьской (ныне – Лазо), а затем, когда с фронта вернулся отец, переселились на крутые склоны Крепостной горы. Наша Вторая Подгорная утопала в зелени, как и дом № 28 дореволюционной постройки, принадлежавший, как говорили, какому-то полицаяу, ушедшему с немецкими оккупантами. Он стал городской собственностью, «жактовским» на языке того времени, и его разделили на две части и отдали двум фронтовикам. Лучшая часть досталась дяде Мише, который в драмтеатре ведал костюмерной, а похуже – моему отцу.

В глубине нашего уютного двора были бассейн для дождевой, мягкой воды, сарай и пристройка к дому, где жила Тамара Коваленко, которую должны помнить многие по её рассказам о до- и послевоенном Ставрополе. У Коваленко была хорошая память и любовь к улицам родного города. Ныне её дело продолжает с большим успехом журналист Анатолий Чернов-Казинский.

Выше сараев и двора был огород на три семьи, где росли фруктовые деревья, и делянки, на которых мы выращивали картофель, лук, морковку, помидоры и всякую зелень. В нашем сарае всегда хрюкал поросенок, мычала дойная корова и ночевала лошадь отца, который работал зоотехником подсобного хозяйства маслозавода. В общем, наша семья была, так сказать, самодостаточна. В город по кривой улице Клары Цеткин мы ходи-

ли в немногочисленные тогда магазины только за хлебом, сахаром и солью. Их выдавали по продуктовым карточкам, которые со временем отменили. Очереди в магазины были огромными, люди в них порой стояли сутками...

Да, в те годы городом считались постройки на горе, а вокруг были Ташла, Форштадт, Октябрьский район, Осетинская поляна... Мы были полуселяне, полугорожане... короче, маргиналы. А на горе жили важные чиновники, потомки дворян, военных и купцов. Их дети всегда ходили в обуви, а мы – летом, конечно – только босиком.

Подгорненские улицы, которые каскадом до самой Ташлы спускаются по южному крутому склону Крепостной (раньше – Комсомольской) горы, уникальны по своей природе. Такими же они остались по сей день. Извилистые, узкие и не очень длинные. Они утопали в садах, в которых сквозь зелень выглядывали сливы, алыча, яблоки, груши... Благодать, рай на земле!

Это была слобода, похожая на аул в горах. Родников и ручьев в ней было немерено. Скажем, через наш двор протекал, как помню, ручеек, который весной и после дождей становился чуть ли не рекой и впадал через километр-другой в Ташлу. На Подгорной жили в собственных домах разные люди: бедные и не очень, разных национальностей – русские, украинцы, греки, армяне, евреи, была даже чеченская семья. И все занимались разными делами: торговали на базарах, шили обувь, работали на стройдворе, на мясокомбинате, на обувной фабрике. Были учи-

теля и врачи. Блеск и нищета нашего подгорненского Вавилона, как и сплоченность разномастных жителей, всегда удивляли меня.

Даже мы, дети и подростки, стояли друг за друга горой. У нас были свои авторитеты, которых я, будучи по натуре лидером, со временем подмывал под себя, потому что умел драться жестоко и стойко с пришельцами из города или Ташлы. Наверное, у меня одного на Подгорной не было прозвища. Владька, и всё! А другие носили клички – Матрос, Фитиль, Коряга, Чечен или Псих. Был и Художник – брат Тамары Коваленко, весьма одаренный человек. Случались прозвища и у некоторых взрослых. Скажем, отчима Чечена, сапожника по профессии, называли почему-то Быком. Напротив нас жил дед с бородой, торговавший на Верхнем базаре самодельными иглами, рыболовными крючками, по прозвищу Синеглазый – оттого, что носил днем и ночью синие очки. Моего отца иногда называли Жрецом, что тоже было понятно: он, будучи не только зоотехником, но и пиротехником, по праздникам ставил фейерверки в городском парке. Однажды друг моей юности Вадим Белоусов, ставший много позже известным журналистом и писателем, напечатал об отце очерк «Жрец разноцветных огней». И пошло-поехало: «Жрец да Жрец», что немного расстраивало его: «Запомните, я Сергей Михайлович, а не какой-то там... жулик!»

Очень колоритной фигурой на Подгорной был мужик лет сорока Вовяра – здоровый, как бугай, и невероятно сильный. Он пил только водку и был

обваловщиком на мясокомбинате. Добродушный, подобно многим силачам, он удивлял всех тем, что легко связывал железные прутья узлом и кулаком разбивал кирпичи. Его многие боялись и уважали даже на Ташле. Мне Вовяра покровительствовал, наверное, за мою безумную храбрость. Я мог один драться с тремя и даже пятью пацанами и... побеждать. Хотя, надо признаться, я не любил драки, но... как без них в то время!

Я уже говорил, что у меня не было прозвища. Но за глаза, за спиной мои сверстники иногда называли меня «Недоразвитым писателем», ибо я с раннего детства сочинительствовал. Помню, как однажды Моряк в гневе бросил «ты – недоразвитый...» и замолк, глянув в мои глаза.

– Кто я? – тихо спросил я и решил бить Моряка смертным боем, но вмешался Вовяра и помирил нас, глубокомысленно сказав: «Пацаны, он это... ну, Владька, со временем разовьется!»

И как в воду глядел, угадал моё будущее занятие. Когда через 10–15 лет начали печататься первые произведения в газетах, журналах и отдельными книгами, Вовяра, уже старик, раскидывал свои огромные руки и удивлялся: «Ты, гляди... Владька и правда развился! А я думал, что он будет, как это...»

– В каком «это» смысле? – однажды хмуро спросил я Вовяру.

Он ответил одним словом: «Владярой!», что понравилось присутствующему при нашем разговоре Моряку, у которого было имя от папы и мамы – Вовка. Моряк до самой смерти упрямо

называл меня Владярой, а я его уважительно Владимиром, и он каждый раз поправлял меня:

– Владимир, Владяра, только один в мире. Это Ленин!

Мне иной раз жаль, что Ставрополь старый постепенно исчезает. Улицы все те же, только иногда меняют их названия, а глинобитные и даже кирпичные перенаселенные домишки дореволюционной постройки сносят, строятся коттеджи и небоскребы. Вырубаются сады, рощицы, почти исчезли булыжные мостовые, заборы из ракушечника, родники, ручейки, скамеечки около приземистых хат и хатенок. Все закатывается в асфальт! Не видно конопатых и босых детей, играющих на улицах в «отмерного», альчиками или в «чижика». Или гоняющих колеса с помощью специально изогнутой толстой проволоки. Исчезли многочисленные прудики и просто лужи, где мы купались, но появились фонтаны, цветники из немыслимых ранее цветов и тысячи рычащих автомобилей. XXI век, цивилизация наступает... Золотой Ставрополь моего детства и юности я вижу только в своих стариковских снах, и нынешний цвет его я уже не могу определить. Сплоченность жителей как будто осталась в прошлом. Мы живем в квартирах-клетках, плохо знаем своих соседей. Иногда кажется, что Ставрополь становится городом Желтого дьявола, где правят только деньги...

Но я разворчался, пусть меня простят читатели. Ностальгия! Когда я отбрасываю свою грусть по старому Ставрополю, я, конечно, вижу, что

новый город становится современным, красивым, удобным для жизни новых поколений. Возможно, они определяют его цвет. Над ним далеко не случайно витает Ангел с крестом в руках. Он – хранитель духа Ставрополя, сплоченности его жителей, нашего многонационального братства и противник меркантильности. Счастья и мира вам, жители Золотого Ставрополя!

И снятся фазаны всю жизнь

Есть на свете наука, о которой мало кто знает – телеология. Это учение о целесообразности бытия как состояния исполненности. Да, мы знаем, что все происходящее является результатом чего-то предшествующего, и, наоборот, всякое действие непременно влечет за собой какое-то следствие. В отличие от причинности телеология ищет ответ на вопрос «зачем», а не «отчего». Этот подход утверждает, что настоящее не выталкивается прошлым в будущее, а вытаскивается будущим из прошлого.

Но отставим все эти философские изыски в сторону, потому что «чем дальше в лес, тем больше дров». Телеология как объяснительный принцип явлений миропорядка существует давно, и называется этот принцип в богословии промыслом Божиим. Что это так, я убедился, став невольным свидетелем одной истории с моим дядей Андреем. Я изложу её так, как все было, а читатели пусть сами делают вывод. Лично я его сделал. Я думаю, что разум возник не благодаря,

а скорее вопреки нуждам природы. Чем выше мы поднимаемся по лестнице бытия, тем сомнительнее выглядит принцип причинности и тем правдоподобнее телеологический принцип.

Читатель, прости мне эти заморочки, но без них, к сожалению, нельзя, как мне кажется, понять то, что я ниже расскажу. Вспоминая и размышляя о давней истории с Андреем, я снова необыкновенно остро ощущаю августовскую жару в Иссык-Кульской долине, когда строил дамбу на арыке вместе с киргизенком Мансуром, и вижу ослика деда Ивана, который мирно пасется неподалеку на уличной лужайке. А матушка с моим братиком Лево́й катает тесто на лапшу в летней кухне. Андрей, мой юный дядька, ловит османов и маринку в бурной Караколке, там, где начинается центральный арык, пересекающий довоенный Пржевальск с востока на запад по улице Сталина. Мы живем почти в самом начале её.

– Сынок, – кричит матушка на кухне, – айда к Андрею. Пусть добудет двух-трех фазанов для лапши.

Я с неохотой отрываюсь от своих занятий и плетусь к ослику, который, увидев мое приближение, перебегает на другую сторону улицы.

– Не балуй, – хрипло, подражая голосу деда, рычу я. – Работать надо, Серый.

Еще через минуту я уже на спине Серого, прижимаюсь животом к его острой спинке, хватаю за уши и направляю ослика к подножию пика Юлиуса Фучика. А солнце обжигает спину, и мне почему-то не хочется ехать охотиться на фазанов.

Андрюшка, как всегда, около заводи, из которой городской арык берет свое начало, то и дело кидает спиннинг, вертит катушку. А винтовка Пржевальского, с которой мой дядя только что не спит, висит рядом на сучке дерева. Уда и оружие достались Андрею по наследству от деда Ивана, который был конвойным казаком великого путешественника по центральной Азии и которого он похоронил в 1888 году на берегу Иссык-Куля. В 1889 году кишлак Каракул был переименован по высочайшему указу в город Пржевальск и стал столицей южной ветви семиреченских казаков. Но все это, как и то, что Сталин якобы побочный сын Пржевальского, я узнал позже, когда пошел учиться в школу имени генерала. В школе тогда висели два портрета удивительно похожих друг на друга людей, что удивило меня. Но все объяснил дед Иван: «Это отец и сын, внучек, но ты об этом абы кому не болтай».

Кончался 1942 год, шла великая война, когда я узнал тайну Сталина и не было уже на свете Андрея...

Но я возвращаюсь к августовскому жаркому дню 1940 года, когда на Сером прискакал к берегу Караколки.

– Андрей, матушка велела добыть трех фазанов для лапши!

– Бу зде, – говорит мой юный дядька. Он всегда так говорит со мной, сокращая слова, и давно уверяет, что это язык древних лхасцев. «Не веришь, спроси у деда. Он тебя научит говорить на разных языках».

И действительно, дед научил. Я научился говорить на киргизском, казахском и уйгурском языках. А лхасский выучил в пять минут.

– Андрю, – говорю я на лхасском, – оя буде стреляя толь фаза?

Он молча кивает головой. Да, только красавцев фазанов, потому что самочек надо беречь. А я, расстроенный, говорю нормальным языком: «Они такие красивые, тебе не жалко их?»

– Возможно, – отвечает он, беря в руки двустольную винтовку. – Такова жизнь. Фазаны едят кузнечиков, траву, ежевику и малину. А мы – их. Лучше стрелять самцов, потому что курочки нужнее и для нас, людей.

– Тебя за это Бог накажет, – говорю я страшные слова, когда мы начинаем тихо пробираться берегом Караколки к гнездовьям фазанов. Впереди Андрей с винтовкой Пржевальского наперевес, я – позади. Мы проходим несколько лужаек, залитых ослепительными лучами августовского солнца. На них выются сотни мотыльков, прыгают тысячи кузнечиков и лишь иногда пролетают царственные, необыкновенно красивые махаоны.

Потом Андрей останавливается. Он уже заметил стайку фазанов в зарослях ежевики и малины, машет мне рукой. Мол, выдвигайся, Владька, вперед, пугни птиц. Так мы делаем всегда на охоте. Дядя стрелял фазанов на лету, бил пульей по их крыльям. Он с детства классный стрелок и собирался, как подойдет его призыв, быть в армии снайпером не хуже этих гадов финнов. Доживи

он до Великой Отечественной, сколько фашистов уничтожил бы, теперь думаю я.

Я иду узенькой звериной тропкой в заросли вначале тихо, а затем, заметив бегающих фазанов, шумно. В стайке их штук двадцать. Покрупнее, серого цвета, были фазанихи, помельче – фазанята июньского выводка. И среди них четыре или пять красавцев петухов. Их оперение было сравнимо с радугой, когда она вспыхивает над Иссык-Кулем. Особенно меня завораживали ярчайшие золотисто-голубые хвосты, стального и сиреневого цвета крылья, пепельно-белые грудки, изумрудные глаза фазанов и кроваво-красные висюльки по бокам гордой головы. По окраске фазаны были даже красивее гималайских махаонов.

Во мне бьется, как сердце, одно желание – чтобы Андрюшка промахнулся. И тогда красавцы будут жить до следующего нашего прихода, но под пулями дядьки все равно упадут мертвыми комочками фазаны из соседней стаи. Я шепчу на лхасском языке, буквально молюсь: «Андрю, промах, промах...» Но увы!

В ружье Пржевальского два ствола и два патрона. Звучат один за другим два выстрела, и два гордых красавца падают на землю около меня. Я, всхлипывая, подбираю их тушки и на что-то еще надеюсь, но слышу за спиной требовательный голос дядьки: «Вперед, Владька, надо добыть еще одного!» Я снова шепчу: «Промач, промах...» Выстрел слышу не за своей спиной, а как бы сверху, с неба, и вижу, как во сне потом, множество раз третьего фазана. Нет, не фазана, а

кровь, которая хлещет из левого глаза Андрея... и видение исчезает.

А чуть позже я еду верхом на ослике, а рядом идет необыкновенно красивый, под два метра мой дядька, срывает по пути ежевику и жадно ест её. Сок стекает у него с подбородка, рука красная от сока, будто в крови. Андрей, чтобы успокоить меня, говорит, говорит, но я плохо слышу его.

– Мы с тобой, Владька, настоящие казаки-добытчики. Трех фазанов, пять османов хватит на всю семью. А маринок я отпускал, пусть живут черноморские! А ты чего? Глаза трещь... нет, Владька, блаженный ты у нас, больно жалостливый! Ну и что из того, что фазаны красивые? Все живое на Земле красивое, ты, я, элик и архар, которого мы называем тэком, тоже. Все рождается таким и умирает рано или поздно, Владька, по разным причинам. Все в мире целесообразно, разумно, если хочешь. Все в руках Божьих...

Дед Иван рассказывал мне, что в столице Тибета Лхасе живут монахи-буддисты, которые считают, что все живое после смерти перевоплощается, живет в новой жизни в новом облике. Так думают лхасцы. А они мудрее нас... так что ты не печалься. Фазаны перевоплотятся в махаонов или, быть может, станут людьми...

А я молчу, сидя на дедовом ослике, и беззвучно почему-то плачет моя душа, как и сейчас, когда я стал продвинутым стариком, который знает десятки, сотни философских систем, учений. От этого не становится мне легче. Когда был ребен-

ком, я почти не рассуждал, не мудрствовал, а жил ярчайшими, как все в детстве, чувствами. Боже, где они теперь? И предвидеть будущее я могу теперь лишь изредка, в моменты озарений или во сне. Что-то я утратил в своей нелепой жизни... Не нравится мне она.

Умом я понимаю многое, скажем, то, что в далеком 1940 году я увидел на берегу Каракол-ки один из вариантов будущего своего дядьки, и он, к сожалению, сбился на следующий день. Но почему, зачем это осуществилось?

На следующий день после обеда Андрюша любовно чистил и смазывал оружейным маслом ружье. К нему в это время пришла Катя Баранова, за которой ухаживал мой юный дядя. Я крутился рядом, дразнил их: «Тили-тили тесто, собрались вместе жених и невеста!»

Андрей щелкнул затвором и, смеясь, передал винтовку девушке с шутливым предложением: «Ты прицелься мне в глаза, а я посмотрю, хорошо ли я прочистил стволы?»

– А я тебя не застрелю? – спросила Катя.

– Не, – отвечал Андрей на лхасском языке. – Ру не заря.

Это были последние слова в его короткой жизни, потому что Катя с улыбкой бездумно нажала на курок. И он увидел смерть...

Именно с того дня мне стали сниться итсук-кульские фазаны, падающие под меткими выстрелами Андрея. И я начинаю плакать, как в детстве, горько и безутешно. Отчего или зачем?

Чейнж в Бристольском заливе

Сколько себя помню, столько и ловлю рыбу удочкой. Эту пожизненную страсть привил мне мой прадед Иван Чернов, удивительный человек, сопровождавший генерала Пржевальского в двух его экспедициях по Центральной Азии и в 1888 году похоронивший великого путешественника на берегу озера Иссык-Куль. Прадеду было лет чуть больше, чем мне сейчас. Он считал, что настоящий казак должен обеспечить себя пищей в любых условиях и управлять даже дикой лошадью.

Первых своих рыб я поймал на озере Иссык-Куль и в речках Караколка и Тюп. И первых фазанов подстрелил там же, в пышных зарослях. После этого дед Иван сказал: «Теперь я за тебя, Вадичка, спокоен. Ты не умрешь с голоду даже в Тибете или на Аляске».

...Через много лет я увидел берега Аляски с борта краболова «Евгений Никишин», где работал приемщиком крабов. За свою жизнь я овладел многими профессиями, но приемщик-оценщик крабов – самая редкая и экзотичная из них. Разновидностей крабов много, но один – тарабатани – наиболее крупный, до полупуда весом, водится не везде, в частности, он есть в Бристольском заливе Берингова моря. Летом 1970 года туда пришел громадный «Никишин», судно-добытчик и обработчик с неограниченным районом плавания.

Мы ловили крабов в нескольких милях от Аляски, где глубина до 50–70 метров на шельфах. В свободное время я разглядывал горы Аляски в бинокль, ловил на удочку минтая, треску пудами и не знал, что с ними делать. Никишинцы эту мелкую рыбу не признавали, как у нас на Ставрополье, скажем, пескарей.

Было, ловлю, мимо проходят матросы и говорят одно и то же: «Эх ты, Сергеич, горе-рыбак!»

Когда твой улов никому не нужен, чувствуешь себя неважно, рыбацкая страсть ослабевает... И стал я мечтать, как герой повести Хемингуэя, поймать большую рыбу, удивить своим искусством всех никишинцев. Только как это сделать?

Помог мне стармех, большой любитель выпить. А с выпивкой у нас было строго: сухой закон. Купить же спиртное можно было в судовом магазине только по специальному разрешению капитан-директора. Он один из немногих знал, что на самом деле я профессиональный писатель, автор нескольких книг. Капитан относился ко мне почтительно, что многих удивляло. И за моей спиной говорили: «Странный у нас приемщик крабов. Не жульничает, не матерится, за девушками не бегает... святой, что ли?» «Нет, он или сексот кагэбэшный, или поп-расстрига!»

Однажды стармех отозвал меня в сторону и говорит:

– Я помогу тебе поймать большую рыбу. Но для этого нужно несколько бутылок «Столич-

ной». Ты с капитаном «вась-вась», вот и раздобудь. А я раскрою тебе свой секрет...

Капитан-директор пошел мне навстречу, купил я несколько бутылок даже не «Столичной», а «Посольской», которую в те времена пили только члены Политбюро, министры и другие очень большие или очень блатные люди.

Тайно я передал водку стармеху. Он, не отходя, как говорится, от кассы, тянул полбутылки, потом сказал: «Бери свою уду и иди на корму, но так, чтобы никто не видел. Лови, как обычно. А когда стемнеет, я приду и передам свой секрет».

Действительно, стармех пришел в темноте на корму с мощным морским фонарем, осветил пойманных мною минтаев, по килограмму каждый, и начал их небрежно спихивать ногами за борт.

Я с изумлением наблюдал, как он затем вытащил из моря мою уду с двумя крючками, аккуратно привязал к каждому крючку по бутылке «Посольской» и опустил снасть на дно со словами:

– Ловись рыбка большая, а маленькой нам не надо.

А затем развернул фонарь к берегу Аляски и начал мигать светом. Мне показалось, что из темноты нам тоже кто-то помогал...

– Пошли, Сергеич, – сказал стармех, – спать. Утром придем за уловом.

На рассвете мы вдвоем с трудом вытаскивали уду на борт. Чтобы не порезать ладони, тащили леску, надев перчатки. Меня чуть не хватил

удар, когда я увидел на поверхности темно-зеленой воды громадного палтуса, которым я потом накормил весь командный состав «Евгения Никишина». Под чарку, естественно.

Сам капитан-директор поднял одну из них в мою честь и, лукаво улыбаясь, произнес тост:

– За здоровье Сергеевича, великого советского рыбака!

Вторую чарку выпили уже за «великого советского приемщика крабов», который «не химичит», а честно делает свое скромное дело.

Третью мы выпили по предложению стармеха за... надеюсь, читатели уже догадались, за кого. За канадских пограничников-водолазов. А может, за американских? Не помню.

После этого до конца плавания я иногда подкалывал стармеха, говоря, что его «секрет ловли большой рыбы» противозаконный, что мы съели контрабандного палтуса и так далее.

Стармех оправдывался одними и теми же словами:

– Это морской чейндж называется, обмен того, что у нас есть, с тем, чего у них на Аляске нет. И все довольны. Убедил я тебя, Сергеич? А с акулами империализма надо дружить...

Сколько лет прошло с той поры, сколько воды утекло! А я иногда думаю, что свою самую большую рыбу я поймал как-то не так. Но вместе с этим тащить со дна громадного палтуса было очень приятно до тех пор, пока я не заметил, что рыба убита гарпуном из подводного ружья...

«Я СУЩЕСТВОВАЛ И – СУЩЕСТВУЮ...»

Со дня ухода из жизни моего брата, Вадима Сергеевича Чернова, прошло тринадцать лет, но ощущение такое, будто он и не покидал нас вовсе. А поддерживают эту веру его книги, со страниц которых он продолжает разговаривать с нами, своими современниками.

В который раз открываю предисловие ко второму тому «День мой – век мой» и читаю: «Я внутренним зрением вижу будущее и тебя, листающего мои книги, в которые вложил душу, сердце в надежде не умереть совсем. Я трепещу, волнуясь, хотя меня физически нет на этом белом свете. Но я – поверь – существовал и существую – и очень хочу, чтобы ты услышал меня...».

У него было много близких товарищей, и один из них – московский писатель, фантаст,



**Светлана
БЕРЕЖНАЯ**

Мемуары



драматург, журналист Владимир Губарев. Он так сказал о Вадиме:

– Этот человек всегда поражал меня насыщенностью своего литературного языка и мудростью, редко присущей молодым писателям, но даренной ему с юности природой... Вадим Чернов принадлежит к настоящим русским писателям, знакомство с творчеством которых – это глоток чистой воды из родников нашей литературы. Родников, которых год от года становится меньше...

...Пришёл он в литературу Ставрополья в шестидесятых годах прошлого столетия. В прессе писали, что «писательская известность и слава Вадима Чернова придала вес Ставропольской писательской организации». Позже его называли и «бунтарём советской эпохи», и «ставропольским Хемингуэем», и «парадоксальным Вадимом Черновым». А на презентации второго тома «День мой – век мой» о нём уже говорили как о «летописце души», «частице истории страны», «фигуре самодостаточной и самозначащей».

А начинал Вадим Чернов как журналист. Его коллега по «Молодому ленинцу» Вера Чернышова вспоминает, что ей нравилась его манера писать и то, как он работал со словом.

– Особенно здорово он умел сочинять заголовки. Они были яркие, броские и многоговорящие. Уже тогда Вадим, в отличие от многих, мог прозреть внутренние достоинства человека и позволял себе иметь личное мнение о ком-то или о чём-то, чем временами и нервировал своё окружение.

Таким он оставался всегда. А будучи редактором многотиражной газеты «Ставропольский строитель», вывел её на новый уровень – она стала иметь громадное влияние на весь многочисленный рабочий коллектив и на производственный процесс. Он безбоязненно поднимал животрепещущие проблемы, ставил острые вопросы, выступал в защиту рабочих. И хотя работал под эгидой парткома и завкома, свою точку зрения мог отстаивать и перед ними. К нему, к его аналитическим статьям прислушивались все руководители.

– Этого бы не произошло, если бы Вадим не соблюдал правила честной игры, – считал Фёдор Даниленко, работавший в то время в тресте «Ставропольпромстрой-1». – В нём удивительным образом сочетались скромность и чувство долга перед читателями.

– У Вадима Чернова, – вспоминает Виктор Надеин, депутат Думы Ставропольского края, – была интересная особенность: его строгость никогда не переходила в суровость, а снисхождение не перерастало во всепрощение. Помню, как я первый раз пошёл на выборы. Они были для меня очень тяжёлые, так как мне противостояла серьёзная команда. Вадим Сергеевич очень переживал за меня. А с другой стороны, был рад моему выдвижению. Он верил, что с приходом молодых ребят ситуация не только в городе, но и в стране изменится. В его словах никогда не было разночтения. Он был прост, даже, на мой взгляд, евангельски прост. Недаром часто употреблял фразу: «Не мудрствуя лукаво». И меня

наталкивал на необходимость чаще задумываться о вещах более серьёзных, более подлинных, а не фальшивых. Ведь любая подделка, как фальшивая монета, никому не нужна, никем не востребована и однажды будет обнаружена. Когда его не стало, передо мной возник вечный вопрос: почему я не нашёл времени лишний раз заехать к нему, посидеть, чаю попить, поговорить? А ведь у меня частенько возникала внутренняя потребность встретиться с ним, пообщаться, «напиться» из этого «источника мудрости», но... всё времени не хватало. А сейчас уже не с кем поговорить, поздно...

Вот и у меня не хватило времени. Хотя я была рядом с ним все эти годы...

...Я появилась на свет, когда ему было тринадцать. Когда мне стало столько же, ему исполнилось двадцать шесть. К этому времени он был автором сотен рассказов, очерков, интервью и статей, опубликованных в газетах, сборниках, альманахах и журналах. А с 1963 года начали выходить его книги, общий тираж которых превысил два миллиона экземпляров. И первая же стала «пропуском» в Союз писателей СССР.

Наш дом всегда был полон его друзей. У нас бывали, и достаточно часто, писатели Александр Екимцев, Вадим Белоусов, Вениамин Ащеулов, Владимир Гнеушев, Евгений Карпов, Александр Поповский, Игорь Романов, Георгий Шумаров, Иоаким Кузнецов и другие. Их имена до сих пор на слуху у многих. Из Пятигорска приезжал один из самых известных в то время ставропольских

поэтов Александр Мосинцев, а из аула Кумыш Карачаево-Черкесии – Мусса Батчаев, карачаевский писатель, пришедший в литературу в конце 50-х – начале 60-х годов. Еще бывали Андрей Губин, автор знаменитого романа «Молоко волчицы»; московский писатель-прозаик Василий Росляков, подаривший мне с дарственной надписью свой двухтомник; ведущий журналист «Комсомольской правды», писатель Леонид Репин.

А ещё наш дом посещал Вольф Григорьевич Мессинг. Дружба Вадима с великим телепатом началась в начале 60-х годов и продлилась до момента ухода Вольфа Григорьевича из жизни. Позже он напишет об этом повесть «Люди жаждут чуда».

Да, в те годы Вадим находился в зените славы и центре общения.

Помню, мне было тринадцать, когда я, затаив дыхание, сидела на корточках возле закрытой двери, ведущей в комнату, где брат, приехавший из Москвы, зачитывал друзьям конспекты редких книг, прочитанных им в читальном зале Ленинской библиотеки. Мне тоже было интересно, но меня не допускали в их взрослый круг, и это обижало меня до слёз. И в какой-то день внезапно открылась дверь, и брат, столкнувшись со мной лоб в лоб, сначала нахмурился, а затем милостиво позволил войти. Потом мне не раз разрешалось присутствовать на таких встречах, многое дававших моему уму и сердцу.

Когда Вадим учился в Центральной комсомольской школе, преподаватели частенько хва-

лили его за эрудицию, глубину знаний, умение всё сказать лучше других. По этому поводу он нам писал: «Казалось бы, чепуха это, но тем не менее приятно. А потом, между нами, мне ужасно боязно показать, что я знаю что-то хуже других».

Он много ездил по стране и писал мне письма, в которых по праву старшего воспитывал меня, с удивительным простосердечием веря в педагогическую силу наставлений и проповедей или, как он выражался, «нотаций».

Вот некоторые строки из этих писем.

«Мне хочется, чтобы ты была умницей и самой красивой, самой обаятельной девочкой в мире. Конечно, иногда я бываю очень занятым, обижаю тебя своим невниманием, но я постараюсь исправиться».

«Помню, когда я не умел плавать, наш с тобой батька бросил меня в Комсомольский пруд и зарычал: «Плыви!» Мне стало страшно, я наглотался воды и... поплыл. Может, пять метров проплыл, но сам, а к берегу он мне помог добраться. Так и научился на диво хорошо плавать, даже спать на воде. Рассказываю для того, чтобы ты научилась подавлять в себе чувство растерянности и чаще вспоминала песню из кинофильма «Последний дюйм». Перед тобой мир, вот и найди в нём своё место. Он к тебе приспособливаться не будет. И рассчитывай больше на себя, чем на других. Ты ничем не лучше других. Отчего к тебе должны относиться с непрерывным вниманием? Непрерывное внимание нужно заслужить. Иные

этого всю жизнь добиваются и порой умирают как неприкаянные».

Он всегда был рядом со мной, даже когда физически находился далеко. Но и тогда я могла рассчитывать на его помощь. А он знал, когда помочь, – когда до берега оставалось так близко, но так трудно было до него добраться.

По мере моего взросления менялась и тематика его писем. Вадим уже видел во мне не ту маленькую девочку, которую надо воспитывать, а, скорее, друга, товарища.

«Здесь, в Хабаровске, меня великолепно встретили. И отчасти от уважения, и отчасти из-за того, что обо мне хорошо написала «Литературная газета», хорошо обо мне говорили и на пленуме Союза писателей, а говорили так: В. Ч. – крайне любознательный человек, путешественник, и потому он пишет приличные книги».

Однажды мы с ним поехали в аул Кубачи, где жили златокузнецы: я – по заданию редакции, его направил туда какой-то журнал. Мы видели одно и то же, беседовали с одними и теми же людьми, то есть исходные данные у нас были одинаковые, но его материал оказался намного лучше моего. Таких наглядных уроков журналистского мастерства было много, брат преподносил их мне в разные годы моей жизни достаточно часто. Но надо признаться, хвалил он меня крайне редко. «Похвала есть путь к гордыне, – не раз повторял он мне. – Научись принимать её спокойно».

А однажды я получила от него письмо, в котором он писал, что из меня не только журналист,

писатель со временем получится. «Только не ленись, больше пиши. Ты талантливый человек, владеешь словом, а пока учись писать зло, хлестко и... умно! Подожди, ещё напишешь «Жизнь Вадима Чернова».

Я тогда посмеялась, потому что не приняла всерьёз его слова. И, естественно, благополучно забыла о них. И только когда готовила к изданию книгу воспоминаний о нём «Свеча между ладонями», стала перечитывать его письма, хранящиеся в домашнем архиве, и, обнаружив это, поразила его прозорливости. Нет, не в отношении себя, а в отношении книги о нём...

Во время работы над ней мне пришлось встречаться и общаться со многими людьми, знавшими писателя. И когда кто-то говорил, что он был резок в своих суждениях, меня это не удивляло. Будучи достаточно близкой к нему, я знала, что Вадим не принадлежал к числу тех, кто мог позволить наступить себе на ногу, хотя бы и нечаянно. И говорил обо всём свободно, не маскируя своё мнение. Многие понимали, что за этой резкостью скрывается профессионализм, и признавали его авторитет, а начинающие литераторы боялись удостоиться его разбора. Кто-то из моих собеседников так и сказал, что в литературной среде с Черновым комфортно было общаться только тем, чьё творчество не грешило графоманством или мелкотемьем, а также его единомышленникам и духовно близким ему людям. Не потому ли одни прислушивались к его словам с пониманием и вниманием, а другие – с заведомым неприятием?

Сам же он, насколько я помню, никогда не испытывал зависти к коллегам, радовался, если кто-то из них написал хорошую книгу, и умел искренне восхищаться благородством поступков. А ещё умел дружить – крепко, по-настоящему, по-мужски. У него было гораздо больше друзей, чем врагов. «А если кто из врагов и рядился в одежды моих друзей, – говорил он, – Бог им судья. Не всегда разберёшь, кто есть кто».

Пестрая книга его жизни была полна разных сюжетов, поворотов, взлётов и приземлений. По этому поводу брат горько шутил: «Я прожил не одну, а как минимум, три жизни и хлебнул на своём веку всякого!». Но он никогда не сдавался.

В молодые годы Вадим был велогонщиком. Однажды, участвуя в соревнованиях, почувствовал, что окончательно ослабел. И тут услышал слова капитана команды: «Если ты стартовал, ты должен прийти. Если надо, приползи на финиш». А потом написал повесть «Сто пятая жизнь Акбара», в которой говорится: «Человека в жизни очень часто подстерегают отчаяние, усталость, неверие в свои силы, страх, нерешительность. И самое трудное – победить себя, свои слабости».

Вот и он, как герой повести Алексей Барышев, мог побеждать себя и свои слабости и никогда не сходил с дистанции. А ещё умел «держат удар» и принимал свою судьбу как бесценный дар. «Чем старше я становлюсь, – говорил Вадим, – тем чаще перечитываю именно «Акбара...». Порой бывает очень тяжело, но по этой повести учусь

жить заново, учусь стойкости, мужеству у своего героя и продолжаю жить, то есть бежать, идти, ползти ползком к финишу... И даже теперь, когда я вижу противоположный берег и чувствую близость переселения, я не сдаюсь».

Вот за это его «я не сдаюсь» Вадим вдвойне достоин всяческого уважения.

Когда брат заболел, он не мог допустить даже мысль о том, что не сможет жить без чьей-либо помощи. А сам помогал всем и в трудный момент был рядом. Так, он самым первым узнал о смертельном заболевании отца и провёл с ним в больнице последнюю ночь, дав матушке возможность не видеть самого страшного – его ухода из жизни. И про диагноз родного брата нашей мамы, дяди Гриши, узнал первым и сидел у его постели до последних его дней. И о том, что у мамы саркома, никому не сказал и нёс это бремя в полном одиночестве: «Ещё успеют узнать, ещё успеют погоревать». А к себе и подпускать не хотел – до последнего хорохорился, храбрился, хотя я чувствовала, что и тело, и душа его страдают, как никогда в жизни.

А в одной из его последних записных книжек я нашла такие слова: «Я – река. И скоро достигну океана, сольюсь с ним. Скажут родные, друзья: «Прощай, Владька!». А я им шепну: «Берегите моего сына Лёву». Как я уже говорила, по-разному складывалась его жизнь, но своими отцовскими обязанностями к сыну Лёве он не пренебрегал до самой смерти.

...Когда Вадима не стало, мы, его близкие, много думали над тем, какой памятник сделать, как он должен выглядеть. И придумали...

Гранитное надгробие Вадима одним напоминает верхнюю крышку от фортепиано, что ассоциируется с музыкой его слова, другим – мощное крыло орла, уставшего, но не поникшего, спустившегося на нашу грешную землю попрощаться, чтобы вскоре навсегда взлететь к Богу... А на надгробии, как на постаменте, возвышается раскрытая книга со стихами, записанными Вадимом незадолго до смерти в своём дневнике: «Когда настанет день забвенья, и разорвутся жизни звенья, и не захочет сам творец остановить времён течение, в лицо небесному царю скажу такое многократно: «Что жизнь мне дал – благодарю. Вдвойне – за то, что взял её обратно».

Я не могу без родины моей.
Опять приеду, и опять, и снова.
Есть что-то для меня среди
полей –
Как бы весь мир вмещающее
с л о в о.

А так, посмотришь, ничего
и нет –
Пейзаж неброский, бедность
и разруха...
Но есть какой-то изначальный
свет
И та земля, что многим стала
пухом.

Ни тропаря, ни кондака не
зная,
Стою стыдливо, слушаю,
молюсь.
Я за тебя молюсь, родная Русь.
Не может стать бесовскою
святая.
Я за тебя молюсь, святая Русь.

За обновление русского народа.
Пусть наносное сгинет, отпадёт,
Пусть сохранится в Боге наш
народ,



**Геннадий
ИВАНОВ**

Поэзия



Лукавого пускай не ищет брода...
Да сохранится в Боге наш народ.
Пускай его рассеются враги.
Прошу: «России, Боже, помоги».

Ты говоришь о вечном и простом:
Спасти Россию можно лишь терпением –
Ты говоришь: молитвой и постом!
Но я добавлю: волей и служеньем!
Не просто жить – как по теченью плыть,
Не просто жить – как лебеда и тополь...
Служить России, «рваться ей служить»,
Как в «Выбранных местах...» заметил
Гоголь,

О чем писать, когда достигнешь рая?
Сияет солнце много дней подряд –
Лучи в реке искрятся и горят,
А я брожу, от счастья замирая,
То у воды, то в роще, то в цветах...
О чём писать? О том, что жизнь прекрасна?
О том, как чудны песни райских птах?
О чём писать, когда тебе всё ясно...
Да ни о чём. Напишем ни о чём –
Что рай кругом, и клевер, и ромашки,
Что ласточка порхнула над плечом
И по воде скользнула без промашки

У братской могилы на Севере

Вот здесь лежат две тысячи морпехов
С великой героической войны...
Да, здесь лежат две тысячи морпехов,
Защитников и ангелов страны.

Страна их помнит, память
неподдельна.
И молодые эту память чтут:
На юге, на окраине удельной –
Там новые морпехи в бой идут.

Знак СС на груди украинца

Знак СС на груди украинца
И какой-то языческий знак.
Он спокойно глядит, не боится.
Не раскаивается никак.

Убивал, истязал, издевался,
Мучил пленных – и всё потому,
Что какому-то идолу клялся
И попал в inferнальную тьму.

Он уверовал, что ему можно,
Что он выше обычных людей.
И не понял, что всё это ложно –
Весь набор их «азовских» идей.

Он спокоен. В тюремном оконце
Он не видит печали своей –
Он уверовал в чёрное солнце,
В превосходство арийских кровей.

Боже мой, сколько тёмного леса
В этих душах им всем на беду!
Украина наслушалась бесов
И пошла у них на поводу...

Ураганный огонь артиллерии –
он как будто кричал «Ура!» –
и летел на врага,
в пух и перья
разбивая его вчера.

А сегодня в окопах вражьих
видим всюду тела, тела...
И вокруг тела, и на пашне.
На войне такие дела.

Враг своих не хоронит что-то.
Значит нашим придётся, да.
Да, лопаты бери, пехота...
Да, кругом война и беда.

По-другому нельзя, однако.
Раз не ты, то тебя убьют.

Да, война – это злая собака.
Очень призрачен здесь уют.

И твои блиндажи, окопы
Тоже могут в момент взлететь...
Но взлетели они, укропы,
Значит нынче укропам *геть*.

Отец Владимир и мулла Юлай –
Бойцы к ним тянутся, хотят поговорить.
И речь ведут не про дорогу в рай,
А просят дух беседой укрепить.

Порой бойца здесь настигает стресс –
Порой берёт апатия за глотку,
Порой в агрессию введёт лукавый бес...
На фронте раньше выдавали водку.

Теперь не выдают, хотя найти
Её бойцам, конечно, не проблема.
Но к батюшке так тянет подойти...
Для разговора есть живая тема.

Боец не каждый крепок, как скала.
Покаяться кому-то надо кротко...
Отец Владимир и Юлай-мулла,
Вы здесь нужны поболее, чем водка.

Сверкает солнце на воде весенней,
И южный ветер гонит речку вспять.
Не знаю, будет ли душе спасенье,
Но праздник ей – и снова, и опять.

Весна, весна... Как хорошо на свете,
Что есть весна, что можно её ждать,
Что по весне мы снова, словно дети –
И хочется кораблики пускать.

Застыла тучка, словно на этюде.
Вокруг неё жемчужные лучи!
Но в это время погибают люди...
И взрывы, и пожарища в ночи...

Опять сегодня по Донецку били.
И каждый день я слышу в новостях –
Опять прилёты и опять убили,
В автобусе сгорели все на днях.

Да как же так... Нет никому ответа.
Один ответ от наших должен быть –
Разбить врага, свести его со света!
И русский мир в Донбассе утвердить!

ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ

(Главы из романа)

Таежная практика

На всех факультетах политеха летом формировались студенческие строительные отряды. Их популярность росла, желающих было много, и отбирали туда по комсомольской рекомендации самых достойных с точки зрения общественных организаций и деканатов. В ССО стремились все старшекурсники, это была возможность хорошо заработать. Но будущим геологам не суждено было познать патетику трудовых будней в стройотрядовской форме, приносивших, помимо денег, почёт и даже правительственные награды. Вместо этого у них была ежегодная практика, иначе – поле.

После второго курса факультет раздробился на специализированные практики: разведчики месторождений



**Виктор
КУСТОВ**

Проза



действительно уходили в поле, в экспедиции, изучающие самые труднодоступные таёжные уголки. Лёша Бочаров практиковался где-то в присаянской тайге. Ольга Белова – на Алтае, а Лариска Шепетова – на севере Бурятии; геофизики в забайкальских степях изучали уже разведанные месторождения, определяя их размеры; гидрогеологов носило по настоящим и будущим водохранилищам и рекам, и они предпочитали либо Север, либо Дальний Восток и даже Колыму, в их числе теперь будет и Дима Горбынь, он годом позже, приехав из Минусинска, поступил в институт на тот же факультет.

У буровиков тоже произошло разделение на тех, кто решил специализироваться на неглубоком бурении, на небольших или передвижных установках, помогая тем же геофизикам или гидрогеологам, и на выбравших глубокое бурение на нефть и газ. На первых заявки приходили от Хабаровска до Оренбурга, а вот вторых запрашивали всего две экспедиции – Ленская и Братская.

После каждой практики Сашка обязательно путешествовал.

После второго курса, прожив месяц в степях под Читой, смотался во Владивосток, и приморский город, а главное – разноцветные сопки ему понравились. Океан не произвёл впечатления, может, от чрезмерных ожиданий. Побывал в Находке, Уссурийске, денёк покантовался в Хабаровске и теперь мог по праву говорить, что Дальний Восток знает не понаслышке – бывал.

После третьего курса он проходил практику на буровой на песчаном берегу Братского водохранилища. Отменно половил щук, неплохо заработал, окреп физически и повзрослел. После практики сначала провёл пару недель с родителями в Пицунде, накупавшись и до шоколадной расцветки загоров, потом решил посмотреть столицу Украины. Думал побыть в ней как минимум неделю и втайне рассчитывал на приятное времяпрепровождение с Алкой Тихомировой. Но оказалось, что та уже выскочила замуж. И не только выскочила, но уже ходила с пузом, в пигментных пятнах, погрузневшая и неинтересная. Брак они с отцом будущего ребенка официально оформили, но жили каждый в своём общежитии, перебиваясь нерегулярными встречами. Этим потенциальным отцом был Петро Гнеденко, худой и длинный, с узким лицом и словно вывернутыми наружу глазами, если судить по фотографии – они так и не познакомились, дипломник-физик, родом из Львова, имел в родне бывших бандеровцев, может, поэтому его родители невестку не привечали и заботой не утруждались. Алкины родители всё ещё жили на Севере, помогали молодым деньгами и готовы были вместе с новой роднёй заняться обустройством их быта, но и у них контакта не получилось.

Они посидели с Алкой в кафе, поели мороженого, поделились новостями об одноклассниках: Зина Малькова-Шатохина уже второго родила, Светка Пантелеева ещё не замужем, Ирка Сверлова – точно без кольца, держится, невзирая на

обилие ухажёров. Аркаша Распадин, он и Димка Горбынь теперь в одном городе, все не жены. Валерка Чайка всё так же работает в посёлке, тоже холост, правда, богат, в отличие от них, выпивает. И крепко. Родители Сашке писали.

Общие темы неожиданно быстро исчерпались. Сашка мог бы, конечно, подробнее рассказать о своих увлечениях, но ей-то зачем знать, в кого и когда влюблялся. Ему после того, как Ольга Белова на втором курсе выскочила замуж за мелкого и некрасивого паренька, найдя его в какой-то забайкальской деревне, где была на практике, нравились в основном юные и робкие первокурсницы. С одной из них он даже подавал заявление в ЗАГС, получил талоны на отоваривание в салоне для новобрачных, но до регистрации, по обоюдному согласию, дело так и не дошло.

На языке вертелось, но не мог же он ей, беременной женщине, рассказать о своём братце Славке, попавшем в историю, о каких обычно говорят: и смех и грех. Об этом ему рассказали родители, которые заезжали в Смоленск. Прошедшее можно было бы отнести к разряду анекдотов, если бы Славка сейчас не валил лес где-то на Северном Урале. Со слов матери, выглядело всё следующим образом: Славку забирали в армию, и вечером устроили проводы. Дядя Гена и тётя Тамара ушли к старшей дочери, гости скоро разошлись, а Славка с Ольгой остались. Что между ними точно произошло, знают только они, но наутро Ольга отнесла в милицию заявление, что Славка её изнасиловал. Его тут же

с призывного пункта забрали. Пока дядя Гена пытался разобраться, помочь, быстренько осудили. Ольга на суде уже не настаивала на изнасиловании, говорила, что с согласия, но это не помогло. Родители предположили, что она просто обозлилась: Толя-боксёр остался на сверхсрочную и женился на какой-то местной и, скорее всего, Славку не любила, а он по ней, дурак, сох напрасно. Подлая, конечно, баба оказалась, ведь сама же легла...

Но об этом он Алке рассказывать не стал, а в основном заливал о своём и Аркашкином весёлом житье-бытье, тот, не напрягаясь, сдавал сессии, гулял с Ритой, на практику ездил недалеко, в город химиков Ангарск, и был всем доволен. Алка меньше его слушала, больше – себя (у неё токсикоз начинался), он проводил её до общежития и даже на чай заходить не стал. Посмотрел вслед медленно переваливающейся с бока на бок женщине и вдруг понял, что с этого момента они уже не мальчики и девочки, как бы им этого не хотелось.

Вовки Музыки, знакомого по отдыху на Каспийском море, в городе не оказалось, он уже уехал по распределению куда-то на металлургический комбинат.

К Ирке в Ленинград на этот раз не хотелось лететь, зачем мешать друг другу наслаждаться жизнью порознь, и он, прилетев в Москву, позвонил Нелли.

Та оказалась дома и, если верить голосу и словам, даже обрадовалась ему. Объяснила, как доехать, сама вышла встречать к метро.

Признаться, он её с трудом узнал. Помнил худенькой и угловатой, с настороженным взглядом, а тут подошла полненькая девушка в искусственных кудряшках. И заулыбалась, словно встретила любимого. Заявила, что никаких гостиниц, жить будет у них столько, сколько захочет, она сейчас дома одна, родители пропадают на даче, места хватит.

Но именно в этот вечер родители приехали в город и познакомились с ним.

Сашке понравился папа, Павел Евгеньевич, следователь по особо важным делам генеральной прокуратуры. Он был улыбчивым и негромким, с круглым добродушным лицом и размеренными неторопливыми движениями. Он сожалел, что не может за знакомство пропустить стопочку, за рулём, но надеется, что у них ещё будет время.

Мама, Мария Терентьевна, невысокого роста, полненькая, но с командирским голосом и резкими движениями, окинула Сашку пристальным взглядом, потом вопросительно взглянула на дочь, и та повторила, что это её очень хороший друг.

Марию Терентьевну ответ не очень удовлетворил, но она вопросов больше задавать не стала.

...Вечером они гуляли по Москве, в основном на Ленинских горах и возле университета, и болтали обо всём, что приходило в голову. Сашка узнал, что горячий бакинский парень Рома так ни разу и не приезжал, и даже не звонил ей. А вот флегматичный киевлянин Вова Музыка бывал каждые полгода, поздравлял со всеми праздниками и дарил милые сувениры.

– Между прочим, он очень понравился маме.
– И что же? – вопросительно произнёс он.
– Иногда хочу его видеть, – призналась она. – А иногда просто раздражает.

– Это нормально, – исходя из собственного опыта, жизнеутверждающе констатировал он. – Похоже, он действительно в тебя влюбился. Я ещё на море заметил, что ты ему нравишься.

Нелли посмотрела на него, словно собираясь сказать что-то очень важное и сокровенное, но так и не сказала.

О том, что она хотела сказать, он узнал позже, когда она пришла к нему и они на её постели, она спала в родительской спальне, он – в её комнате, пережили безумие страсти...

Потом, лёжа рядом с раскрывшейся перед ним и плотью, и мыслями и совершенно не волновавшей его женщиной, безбожно дымя сигаретами, она тоже курила, он выслушал её историю.

Оказывается, их знакомство на море состоялось лишь потому, что она поехала туда лечиться после нервного срыва, когда её бросил парень, которого она очень любила. Они были близки и собирались расписаться. Она, «дура была», наглоталась таблеток, чудом откачали. Ей нравилось на море мучить их, потому что она ненавидела всех мужчин, тем более в санатории все изменяли направо. Теперь ко всему она относится иначе, у неё есть друг, с которым они периодически встречаются, но он ей не нравится. Вова, наверное, нравится, но она боится в него влюбиться, потому что ещё одной измены просто не переживёт...

Он положил ей руку на живот, вновь ощутив желание, но она встала, накинула халат. Вновь закурила и сказала:

– Я сегодня пришла к тебе потому, что ты напомнил мне о нём. Но ты похож на того, кто меня обидел. Вова не такой. Он мягкий и добрый. Тебя я никогда не пожалею. А значит, и не люблю.

– Любопытно, – произнёс он и, помолчав, добавил: – Мне кажется, жалость – обидное чувство.

– Женщина не может любить без жалости, – улыбнулась она. – Делать вид, что обожаешь сильного и уверенного мужчину, можно. Но по-настоящему любить такого нельзя. Мужчина для женщины всегда немножко ребёнок, которого надо пожалеть.

– Ты всё усложняешь. Выходи замуж за своего Вову и не мудри.

– Мы с ним договорились встретиться через год. Если за это время между нами ничего не изменится, может, я и соглашусь...

– Приглашайте на свадьбу.

– Мы с тобой больше никогда не увидимся, – вдруг заявила она.

– Почему? – удивился он.

Я не хочу этого, – сказала она, и в её глазах он увидел отчуждение.

И даже ненависть.

– Пожалуй, ты права. – после паузы согласился он. – Эту стену откровенности уже не преодолеть.

Она непонимающе взглянула на него.

– Такого, что произошло между нами, мы уже не повторим, а иного нам просто не захочется, – столь же туманно пояснил он.

Но она вполне удовлетворилась ответом.

На следующий день он улетел.

...Но об этой необъяснимой и нелогичной ночи он неожиданно вспомнил спустя год, когда уже был на преддипломной практике в Братской экспедиции и впервые увидел Любу.

Братская экспедиция базировалась в нескольких десятках километров от Братска в посёлке, где, кроме экспедиции, располагался ещё и леспромхоз, а буровые вышки были разбросаны в тайге от Братского водохранилища до нетронутых таёжных берегов Ангары. В предыдущее лето Сашка уже поработал здесь. Ему понравилось, и он агитировал сокурсников не забираться в якутскую глухомань на берега Лены, где районный коэффициент доплат был ненамного больше, а вместе с ним поехать в настоящую ангарскую тайгу, но желание изъявил только Серёжа Рябец, который прошлым летом практиковался на мелких буровых недалеко от китайской границы и после забайкальских степей хотел теперь посмотреть настоящую необжитую тайгу.

Мишка Кужиков оказался лучшим агитатором, расписывая безотказных якуточек и азартных столичных практиканток из нефтяного института, поэтому основная часть ребят поехала в Ленскую экспедицию. А Витя Иванов напросился на Таймыр, где ещё только начался монтаж первой разведочной буровой.

Сашка, как и Кужиков, уже был спецом, урал-машевскую установку, можно сказать, ощупал собственными руками: поработал помощником бурильщика внизу, у скважины, и даже заездку отстоял верховым, загонял при помощи каната двухсоткилограммовые «свечи» в «магазин», составляя их в ряды. Он уже знал, что породы в Восточной Сибири не сравнимы с тем же Самотлором, о котором всё больше и больше писали и говорили, нефть здесь ожидалась на глубине более двух километров, и до неё ещё не дошли ни на одной буровой, потому что проходятся эти километры, в отличие от западно-сибирских сотен метров, исключительно алмазными шарошками, а основной производственный процесс – это не бурение метрами на одно долото, как на Самотлорском месторождении, а после проходки нескольких десятков сантиметров идёт многочасовой подъём, а за ним такой же многочасовой спуск, когда все на буровой, включая дизелиста, выкладываются на полную катушку...

Они с Серёгой уже неделю жили в посёлке, слезали на буровую в первую заездку: четыре рабочих дня посменно, восемь через восемь часов – выматывающий ритм, особенно если работаешь верховым и выпадают спуски-подъёмы, но зато потом столько же отдыхаешь на базе, отпарили в леспромхозовской бане первую рабочую соль и отправились на танцы.

И леспромхоз, и экспедиция расширялись, набирали рабочих, поэтому молодёжи для таёжного посёлка было немало. Вместе со взрослыми

приезжими парнями и девушками, живущими в двух общежитиях, у стеночки стояли старшеклассницы местной школы. Их было вполне достаточно, чтобы удовлетворить не очень разборчивый вкус подпитых парней. И было очевидно, что топтаться в маленьком клубе с потеющей партнёршей не совсем приятно. Сашка хотел свалить обратно в общагу, почитать Хемингуэя, которого совсем недавно для себя открыл, но тут Серёга, уже оттанцевавший с высокой и улыбчивой девчонкой со смешными детскими косичками, торчащими над ушами, посоветовал ему обратить внимание на её подругу.

Он обратил.

Подруга была невысокой, аккуратненькой, с длинными волнистыми волосами, падающими на плечи, с маленьким, правильной формы лицом, небольшими, иронично улыбающимися губами и серьёзными глазами, удивлённо взирающими на толчею, окутанную табачным дымом; местные танцевали с сигаретами и папиросами, свисающими с уголка губ. Он пригласил её, и они некоторое время потолкались среди потных тел и, наконец, он предложил выйти на улицу. Она тут же согласилась и так же охотно, без кокетничания, согласилась не возвращаться в клуб, а прогуляться по посёлку.

Улица была одна, но зато довольно длинная. Она соединяла старый посёлок, в котором размещалась база экспедиции, с леспромхозовской окраиной, где среди новых одинаковых домов была контора и столовая, в ней очень вкусно

готовили, и можно было поесть того, чего в городе сыщешь разве что в ресторанах и, естественно, по другой цене. В один конец получалось почти три километра, и, если не торопиться, а идти прогулочным бездельным шагом да ещё с девушкой, можно очень даже о многом поговорить. К тому же Люба ничего и не скрывала, не жеманничала, не строила глазки, а вела себя с ним словно со старым и хорошим знакомым, которому можно говорить всё без утайки.

Она выросла здесь, родители приехали сюда, когда она была маленькая, отец строил дома для леспромхоза, закончила школу и уже год трудится коллектором, следит на буровых за промысловым раствором. Сегодня, так же как и они, приехала с буровой. У неё есть жених, осенью они сыграют свадьбу. Он – помощник бурильщика и тоже сейчас на буровой. Они вместе учились. Танцы не любит, но вот Марина уговорила сегодня, пошла за компанию. И очень благодарна ему, что увёл. Поступать в вуз?.. Может быть, на будущий год. Она ещё не определилась, чем бы хотела заниматься.

Он удивился, почему не видел её прошлым летом, и тут же сам на свой вопрос ответил: за всю практику он всего четыре дня был в посёлке – в начале, когда оформлялся, и в конце, получая расчёт. Остальное время жил на буровой. В клуб, естественно, даже не заглядывал и по улицам не разгуливал.

В ответ он рассказал о своих одноклассниках и сокурсниках.

Потом о своих путешествиях.

Она сказала, что завидует ему, потому что дальше Братска нигде не была.

Они ходили по длинной улице, иногда присаживаясь на бревна, которые лежали здесь почти перед каждым домом, и, наконец, надолго обосновались на лавочке возле её дома, она жила в деревянном двухэтажном восьмиквартирном – с родителями и младшим братом.

Здесь их и нашли Серёга и хохотушка Марина, которые, оказывается, уже обыскались, даже по просеке в тайгу ходили. Просека вела на ближайшую сопку, где густо росла малина, – место паломничества всех ягодников, включая медведей.

На их бурный обмен мнениями из окна на первом этаже выглянула седая старушка, и Люба извинилась, пообещала больше не шуметь, но неугомонная Марина явно старших не уважала, шептаться не хотела, и пришлось уже вчетвером отправиться в новую экскурсию по тёмному посёлку. Возле клуба их остановили местные парни, грубовато попросив закурить, и когда Серёга протянул сигареты, их предводитель, невысокий, плотный, явно не слабый на вид, посоветовал девок местных не трогать, тем более которые уже замуж собрались...

Люба, до этого стоявшая в стороне, шагнула к Сашке, просунула руку ему под локоть.

– А тебя, Бекас, это не касается.

– Прикурил и прощай, – весело сказала Марина, тоже зацепив Серёгу под руку. – Мы за себя сами постоим.

– Ладно хорохориться, – неожиданно добродушно отозвался крепыш. – Но следующий раз без магара не пропустим.

– Вам бы только нажраться, – явно повторила чьи-то слова Марина вслед медленно уходящей ватаге. И пожаловалась неизвестно кому: – Сам не дам и другим не дам...

– Бекас? – вопросительно произнёс Сашка, не отпуская пытающуюся вытащить руку Любу. – Странная кликуха.

– Бекасов он, Митька. Пару лет назад школу закончил. В леспромхозе слесарем работает.

– Пошли опять к Назарихе за самогоном, – не успокаивалась Марина. – Чего ты Ваньку с ними пустила?

– Его удержишь.

– А кто этот Ванька? – поинтересовался Серёга.

– Брат Любкин.

– Понятно.

Он остановился, прикуривая сигарету, и Сашка тоже наклонился над горевшей в ладонях спичкой.

– Поэтому и обошлось без драки, – негромко произнёс Серёга. – Но, похоже, ненадолго.

Марина вдруг громко рассмеялась, зашептала с Любой, а они постояли в стороне, молча покурили, давая возможность подругам посекретничать.

– Брось, Марин, не дури, – громко произнесла Люба и решительно повернула обратно. – Уже поздно.

– Ладно тебе, я пошутила, – догнала её Марина и позвала: – Мальчики, мы уходим.

Они провели их к дому, попрощались у подъезда, они жили на одной площадке, и пошли в общежитие, по пути делясь впечатлениями.

Серёге Марина понравилась. Она только что закончила школу, ехать никуда не собиралась. Мать у неё была бухгалтером в экспедиции и хотела пристроить её в контору. Отец шоферил в леспромхозе. Рассказала она Серёге и про Любкиного жениха Вовку. Тот с Бекасом в одном классе учился. Верховым работает.

– Парень он повыше нас с тобой и накачанный, имей в виду, – предупредил Серёга.

– А мне-то что, – отмахнулся Сашка. – Потанцевали, погуляли, разошлись...

– Совсем не понравилась?

– Люба? Почему же... Приятная девчонка.

– А если он ревнивый?

– Значит, дурак...

У небольшого покосившегося домика, из окон которого пробивался тусклый свет, опять наткнулись на компанию Бекаса. Сидя на брёвнах, парни по очереди выпивали из единственного гранёного стакана, в который Бекас наливал при свете услужливо зажигаемой спички.

– Студенты, а я ведь насчёт магара не шутил, – бросил он им, прерывая столь важное занятие. – Если дружить с нами хотите.

А мы не возражаем, – опередил Сашка Серёгу. – Где берёте в это время, почём?

– О, надо же какая сознательность... – Бекас поднёс бутылку к глазам, отдал её худому длинному пареньку. – Это по-нашему. Гони рупь, в самый раз будет.

Сашка протянул деньги.

– И своевременно.

Бекас сунул рубль пареньку, и тот исчез за калиткой.

– Ну чо, будем знакомиться.

Рука у него была мозолистая, и жал он крепко, словно проверяя.

– Чо, девки наши понравились?

– Понравились, – с вызовом сказал Серёга.

– А чой-то твой друг ершится? – повернулся Бекас к Сашке. – А то ведь и рога пообломаем.

– Он правду сказал, – вступился Сашка. – Девчата хорошие...

– Кто кому... – перебил его Серёга, явно настраиваясь подраться.

Сашка прикинул: на брёвнах – трое и Бекас с пареньком; явно быть им битыми, и дипломатично проинформировал:

– Сегодня только с заездки, всю вахту свечи таскали. Может, как-нибудь в другой раз. Насчёт рогов-то...

Бекас уставился на него, приоткрыв рот, потом загоготал, белея крупными зубами, хлопнул Сашку по плечу.

– Ну, ты мне нравишься, студент. А вот твой друг не очень. А знаешь, почему?

Он приобнял Сашку за плечи, шагнул в сторону Серёги. Пацаны поднялись с брёвен, встали позади.

– Потому что Маринка мне нравится. А Любаха, между прочим, невеста моего друга.

Он оттолкнул Сашку и, вытянув руку в сторону пацанов, добавил:

– Но, как я и обещал, бить мы вас пока не будем. Предупредили только.

Взял у подошедшего паренька бутылку, налил в стакан, протянул:

– Ну, ершистый...

– Сергеем его зовут, – подсказал Сашка. – Меня – Александром.

– Серёга, значит... Да ты не обижайся, мы ж по-мужски поговорили. Захочешь подраться, я всегда готов.

Протянул наполовину налитый стакан.

Серёга помедлил, глядя на лыбящегося, добродушного Бекаса, выпил залпом, достал сигарету, закурил:

– Значит, пока за мир и дружбу.

Бекас присел на брёвна, налил, дождался, пока Сашка сядет рядом, протянул стакан ему.

– В нашей деревне тишь да благодать, – правоучительно произнёс он. – А всё благодаря Бекасу. А почему он такой добрый? А потому, Сашок, что находится на условном сроке и хлебать баланду ему никак не хочется. Вот только поэтому я добрый. Но Бекас зря слов на ветер не бросает, так, братва?

Братва одобрительно загудела, перестав булькать в освободившуюся посуду, и тут же продолжила прерванный процесс.

– Малого чего спаиваешь-то? – произнёс Серёга.

– Малого?

– Брата Любкиного.

– Ваньку-то?.. А ты чо, Вань, пьёшь? – Бекас обернулся к худому пареньку, который принёс самогон.

– С чего?

– Гляди у меня. Вишь, у тебя ещё один заступник появился... – Повернулся к Сашке. – Не, твой друг определённо мне нравится. – Бекас хлопнул Сашку по плечу, предложил Серёге: – Садись рядом, не побрезгуй.

– Я спать пошёл, – сказал тот и спросил Сашку: – Ты идёшь?

– А он посидит, – вкрадчиво произнёс Бекас.

– Иди, – сказал Сашка, понимая, что примирение заканчивается.

Серёга неторопливо пошёл по улице и скоро исчез в темноте.

– Ещё выпьешь? – спросил Бекас.

Сашка кивнул.

– Немного.

– Боишься меня?

Бекас подал стакан.

– А чего бояться. Сидим вот...

Сашка выпил, закурил. Голова приятно кружилась, и Бекас казался хорошим парнем, который всё поймёт правильно, если объяснить. И про Люб-

ку, и про Серёгу с Маринкой... Ну погуляли они, так это потому, что некуда податься в их деревне. Это ведь не город, где кафе, рестораны, набережная вдоль Ангары, по которой такие девицы разгуливают по вечерам... Любка, конечно, нормальная девчонка, но он ни у какого Вовки отбивать её не собирается. А у Серёги вообще невеста в городе, так что он ради спортивного интереса...

– Ты мне про интерес не балабонь, – прервал его Бекас. – Я сказал, девок этих не трогать – и баста.

– Что, и на танцы не ходить?

– Скажу не ходить – не ходите.

– Нет, Митя, так не пойдёт.

Сашка поднялся с бревна, пьяно качнулся, опёрся о плечо Бекаса.

– А ты чо, знаешь, как меня зовут?

– Ну, да.

– Ладно... – Он поднялся. – То мне хочется вас побить, то нет, никак я себя не пойму... Но догадываюсь, что к девкам нашим приставать вы будете. А значит, договоримся так: твоего друга увижу ещё раз с Маринкой, юшку пущу. А про тебя у Вовки спрошу, сам он будет или мне поручит. А пока гуляй, студент.

– Я пошёл.

Сашка махнул рукой и, покачиваясь, заторопился по неровной улице, стараясь не упасть и понимая, что зря он выпил последний раз.

В общежитии ему только и хватило сил, что добрести до своей койки и, не раздеваясь, упасть на неё.

...Наутро болела голова и было противно, как всего лишь один-единственный раз в его жизни, когда в детстве пили настойку у Кольки Жбанова. Серёга давно уже ходил по комнате, поторапливая: надо было заглянуть на базу, закончить формальности по документальному оформлению на работу: Сашка – верховым по четвёртому разряду, Серёга – помбуром – по третьему, потом поест в леспромхозовской столовой и наведаться к девчонкам из московского нефтяного института, которые тоже проходили здесь практику, а жили на квартире. Теперь планы изменили и первым делом направились в столовую. Им повезло: из Братска привезли пиво, и под прохладное «Жигулёвское», борщ с галушками, жаркое деревенское засиделись, заговорились как раз до обеда. Тут и с москвичками – Дина и Даша, обе маленькие, кругленькие, улыбчивые и болтливые, познакомились, те тоже пообедать заглянули. Вчетвером ещё пива попили и вместе на базу пошли.

Там Савельев, кадровик, ещё их помариновал, пока девчонки ждали на скамейке перед контрой, и, прихватив вина, пошли к ним в гости.

Жили те у интеллигентной молчаливой и седовласой старушки, бывшей учительницы немецкого языка, чистокровной немки, сосланной в начале войны сюда из Москвы. Родителей расстреляли, муж погиб – это всё Дина рассказала, она немке понравилась, и та с ней откровенничала. Небольшой двор был удивительно чист, посыпан песком и засажен цветами, живность хозяйка, в отличие от деревенских, не держала никакую. И в доме была поразительная чистота,

может быть, от обилия кружевных салфеток и скатертей, но в комнате девчонок из-за разбросанных вещей, небрежно прикрытых одеялами кроватей, этого лоска уже не было, и они, выпив по бокалу вина, почувствовали себя вполне уютно.

Даша хорошо играла на гитаре. И песен много знала какого-то Визбора, о котором Сашка даже не слышал. Про горы, неведомый Домбай, про то, что неизбежно проходит, но запоминается навсегда...

*Льжи у печки стоят,
гаснет закат за горой.
Вот и кончается май –
скоро нам ехать домой.
Здравствуйте, хмурые дни,
горное солнце, прощай,
мы навсегда сохраним
в сердце своём этот край.*

Он вспомнил, что перелетал Главный Кавказский хребет, когда летел в Баку, но, как он выглядит, рассказать не мог, потому что и туда, и обратно летел ночью. Но зато мог рассказать о столице солнечного Азербайджана, Каспийском море, на котором ни Дина, ни Даша не бывали. А ещё – шутливо спеть по-кавказски.

Девчонки согласились, что кавказские парни темпераментны, но ненадолго, а Даша вдруг запела песню, строчки из которой неожиданно запомнились:

*Проходит жизнь,
проходит жизнь,*

как ветерок
над полем ржи.
Проходит день,
проходит ночь,
проходит явь,
проходит сон,
любовь проходит –
проходит всё...
И жизнь пройдёт,
мелькнёт мечта,
как белый парус
вдалеке...
Лишь пустота,
лишь пустота –
в твоём зажатом
кулаке...

И под эту песню Сашка вспомнил первокурсницу Оксану, которую заметил на новогоднем вечере в общежитии и всю зиму, как ни за кем прежде, ухаживал: водил в кино и кафе, учил целоваться и обниматься по-настоящему и даже убедил отнести заявление в ЗАГС. Но когда пришёл май, день их свадьбы, ни он, ни Оксана о нём даже не вспомнили.

Действительно, всё проходит.

И увлечения тоже...

Даша чем-то напомнила ему Оксану. Может быть, взглядом неопределённого цвета глаз, который только скользил по нему, не останавливаясь, скользил и уходил куда-то вдаль. Но тем не менее он решил Дашу закадрить хотя бы на

один вечер; на завтра девчонки уезжали на дальнюю буровую и, когда вернутся, не знали, – они изучали, как ведут себя промывочные растворы на различных глубинах, подсел к ней ближе и в полумраке, упираясь ребром в гитару, стал нежно касаться губами мочки уха и щеки. Русский завиток щекотал ему нос и отвлекал, а она, словно не замечая его прикосновений, продолжала перебирать струны. И под её убаюкивающий голос он задремал, поэтому очень удивился, когда Серёга стал говорить, что им уже пора в общежитие.

Сашка потянулся к Даше за прощальным поцелуем, но она увернулась и погрозила пальцем.

– Не люблю торопыг...

Сашка подумал, что она права. Самое замечательное, что в ней было, – это завораживающий голос. Всё остальное – полненькое тело, круглое лицо и невыразительные глаза – эмоций у него не вызывало. И целоваться он особо не хотел, так, в знак благодарности за пережитое щемящее чувство светлой грусти... А Серёга вообще ноль внимания на Дину, хотя по всему было видно, что он ей понравился.

Вышли на улицу, и Серёга вдруг предложил сходить в клуб.

Сашка согласился: не скучать же в общежитии.

В клубе шёл фильм «Звезда пленительного счастья», и немногочисленные зрители переминались у двери в ожидании, пока начнут запускать в зал. Это были, в основном, семейные пары, и они уже хотели уйти, когда увидели

Марину и Любу. Серёга тут же подцепил Марину под руку и стал уговаривать пойти погулять, но она сказала, что фильм хороший, тогда он купил билеты всем, и скоро они сидели на последнем ряду в полупустом, но всё равно душном и прокуренном зале, и над их головами стрекотал кинопроектор.

Сашка больше смотрел на Любин профиль – слегка вздёрнутый носик, почему-то вызывающий умиление, может, по контрасту с Дашиным грубоватым, с широким мясистым носом и пухлыми губами, поэтому не очень вникал в то, что происходит на экране. Но скоро её переживания передалась и ему. Фильм рассказывал о жёнах декабристов, отправившихся за осуждёнными мужьями в Сибирь, об Иркутске, и он несколько раз порывался сказать ей, где снимались эти эпизоды, но она прикладывала к его губам маленький пальчик, и он послушно замолкал.

После фильма девчонки сами предложили погулять, их переполняли эмоции, и они не хотели идти домой.

Неторопливо пошли по ночному посёлку, обсуждая увиденное и споря о том, действительно ли героини фильма так уж любили своих мужей или следовали правилам приличия того времени.

Спорили, в основном, Сашка и Марина. Серёга только периодически кивал, соглашаясь с другом, а Люба молча слушала.

Марина считала, что героини фильма действительно любили очень сильно, но что совсем не обязательно было подвергать себя таким

лишениям, а нужно было хлопотать об освобождении мужей в Петербурге. Сашка убеждал её, что красавицы того времени совсем не любили, это всё придумали сценарист и режиссер, а если и было это в действительности, то, скорее всего, им просто хотелось посмотреть Сибирь, путешествовать. Или заставить светское общество посплетничать о них...

– А я бы поехала за любимым, – вдруг тихо сказала Люба.

– Где только его найдёшь? – вздохнула Марина и, наклонив голову, вопросительно взглянула на Серёгу. – У нас пацаны такие, что не за ними, от них надо уезжать.

– Всё равно бывает и настоящая любовь, – не согласилась Люба.

– Ну да, как у вас с Вовкой...

– Нет, у нас не такая, – после паузы отчеканила Люба и вдруг прижалась к Сашке, сама продела руку под его локоть. И игриво добавила: – А может, даже и не любовь совсем.

– Правда? – Марина даже остановилась. – А все думают...

Люба ускорила шаг, потянула за собой Сашку.

– Догоняйте!

И он включился в игру, до конца не понимая, что происходит, но уже догадываясь, что этот вечер не будет похож на остальные. Ему приятно было сжимать маленькую и горячую ладонь Любы, он заражался её настроением, дурачась, как маленький, и смеясь вместе с ней над явно оторопевшим и чересчур серьёзным Серёгой.

А ещё он испытывал необъяснимую нежность к Любе.

Они побежали по улице. Серёга рванулся было следом, но Марина его придержала, что-то шепнула, и они остались в темноте, а Люба всё тащила и тащила куда-то Сашку. Наконец они остановились возле бревенчатой стены, и только тут он разглядел, что это дом, в котором она живёт.

Люба остановилась, прижалась спиной к стене, запрокинула голову, и он наклонился, осторожно коснулся её губ своими, и она подалась вперёд, доверчиво положила ему на плечи руки, прижалась. Он хотел её обнять, но она вдруг вывернулась, побежала к двери.

– Пока, Сашенька.

– Люба, подожди...

Он кинулся следом, но каблучки быстро застучали по ступеням, хлопнула дверь квартиры.

Он постоял возле подъезда, потом отошёл в темноту, стал смотреть на окна, пытаясь разглядеть за белыми занавесками её фигуру, но все светящиеся прямоугольники были пустынные.

Подошли Марина с Серёгой.

– А где Люба? – поинтересовалась Марина.

– Убежала.

– Куда?

– Домой.

– Вернётся?

– Нет, попрощалась.

– Эх ты, горе-кавалер. Разве за таким поедешь на край света?.. Ладно, я тоже пойду.

Она подставила губы Серёге – и тот уверенно и привычно поцеловал её. Было очевидно, что зря времени они не теряли.

– Понравился ты Любе, – шепнула она, качнувшись в Сашкину сторону, и, помахав рукой, тоже застучала каблучками по деревянным скрипучим ступеням.

– Ну что, пошли, – после паузы предложил Серёга.

Они завернули за угол дома и чуть не столкнулись с пацанами, занявшими всю ширину улицы.

– И кого мы видим? Прытких студентиков, – раздался притворно-ласковый голос Бекаса, и тот вышел вперёд, встал перед Серёгой. – Как нам стало известно, дружескому предупреждению вы не вняли и с девочками нашими гулять продолжаете, – вкрадчиво продолжил он. – А ведь хотелось жить мирно, без всяких экс... Как там, Ванёк, правильно, по-городскому? – спросил он, не оборачиваясь, продолжая в упор смотреть на Серёгу.

Серёга был на полголовы выше, но Бекас явно шире в плечах.

– Без эксцессов, – вывернулся из темноты Любин брат.

– А они нашу доброту не оценили. – Бекас протяжно вздохнул. – Придётся побить.

И тут произошло то, чего никто не ожидал. Серёга выкинул вперёд руку, Бекас качнулся и вдруг упал как подкошенный.

– Бежим! – услышал Сашка голос Серёги и, не совсем понимая, что произошло, побежал, стараясь не потерять из вида его спину.

– За ними! – раздался позади крик Бекаса, и следом застучали-загремели тяжёлые ботинки или сапоги.

Сашке казалось, что это обязательно должны быть сапоги, хотя дождей уже давно не было и все ходили в летней обуви. Он рванулся, выкладываясь уже без жалости к себе, одновременно пытаюсь понять, куда они бегут, и надеясь, что в общезжитие, и тут сзади что-то ударило в спину так, что перехватило дыхание. Он ещё пробежал по инерции несколько шагов и упал, пытаясь продохнуть, избавиться от боли в спине. И тут удары посыпались со всех сторон, он уже не знал, что прятать от них, и, закрыв голову руками, сжался, как только мог...

Наконец пинать его стали реже, и по тому, как зло матерились где-то рядом, он понял, что Серёге сейчас достается не меньше.

– Всё, хватит, – раздался голос Бекаса. – Забьёте до смерти ещё, на меня свалят.

Он наклонился, Сашка увидел расплывчатое белое пятно перед собой.

– Ну чо, студентик, ещё поддать или хватит с тебя? – Бекас помолчал, раздумывая, и добавил: – Ладно, тебе ещё Вовка добавит.

Подошёл к Серёге, окружённому пацанами, резко и сильно ударил того носком туфли в бок, нагнувшись, угрожающе произнёс:

– А тебя, ершистый, следующий раз по-настоящему пришибу. Только к Маринке попробуй подойди.

– Трепло... – выкашлял Серёга и сплюнул.

– Ты поговори! – Бекас ткнул кулаком туда, где было Серёгино лицо. – Бекас слов на ветер не бросает.

– Не ты бил, а твои прислужники.

– Да я тебя...

Бекас, наклонившись, замахнулся, но Сёрега неожиданно перехватил его руку, дёрнул на себя, и тот плюхнулся рядом в пыль.

– Ванька! – раздался вдруг Любин голос. – Ванька! Домой! Отец зовёт!

– Ша, – Бекас поднялся, пнул Серёгу ногой, метя в лицо. – Разбежались, пацаны, не люблю галдежа. – И угрожающе пообещал Серёге: – А с тобой мы разговор продолжим.

– Обязательно, – с вызовом произнёс тот, сплёвывая кровь и поднимаясь. – Один на один, а не со своей сворой. Кишка тонка?

– Один на один, – помедлив, согласился Бекас.

– Ванька! – послышался совсем недалеко Любин голос.

– Иду! – отозвался Иван и торопливо убежал.

Следом, посвистывая, окружённый пацанами, растаял в темноте и Бекас.

– Замечательный вечер получился, – произнёс Сашка, ковыляя к Серёге. Поинтересовался: – Зубы целы?

– Губу разбили. – Серёга сплюнул. – Одному, без кодлы, я ему наkostenю, – уверенно сказал он.

– Ладно, не будем о неприятном, – философски изрёк Сашка, кривясь от боли и пытаясь понять, где больнее всего. – Нам бы оклематься до заездки.

...Следующий день они провалились в общезитии.

Баламут – это фамилия, так в справке, заменяющей паспорт, и значилось: Илья Никанорович Баламут – невысокий, юркий, с бегающими глазами, пару недель как вышедший с зоны, где за свои двадцать пять лет отбывал вторую ходку, оба раза попадал за то, что не мог себе отказать поздней порой в бутылочке вина и по этой причине потрошил деревенский магазин, добродушно посмеиваясь, напоил их чифирём, от которого сердцу стало тесно в грудной клетке. И охотно поделился своим знахарским опытом. Даже добыл где-то бодяги, без которой синяки под глазами: у Серёги под правым, у Сашки под левым, явно не сошли бы недели две. Он же сбегал в столовую и принёс фаршированных мясом блинов. Предлагал за скорейшее выздоровление выпить, на бутылку денег ему дали, а пить не стали – и так головы гудели. Тот не обиделся, чокнулся с пустыми стаканами, с аппетитом пообедал теми же блинами и ушёл на хоздвор базы, где числился разнорабочим.

Полдня они пластом лежали на своих кроватях, не было сил даже изучить синяки, а потом, притерпевшись к боли, добрели вдвоём до умывальника. Тут и разглядели себя в выщербленном зеркале. Из видимого у Серёги, кроме синяка под глазом, распухла переносица и синей сливой висела губа. На теле синяков почти не было, но болел бок. У Сашки лицо, если не считать синяка, не пострадало. Но зато до спины, выше поясницы, дотронуться было невозможно, и Серёга

сказал, что след явно от хорошего дрына, отчего Сашка вдруг тоже загорелся жаждой мщения. Вот только не знал, кто этим дрыном его огрел.

– Однако, Ваня, – предположил Серёга, смачивая холодной водой отвисшую губу. – По-родственному...

– Не смешно, – поморщился Сашка, но вполне допустил и такую возможность.

Они зализывали раны и строили планы отмщения. Строил, в основном, Серёга, который знал, кого следует наказать. Слушая его, Сашка всё более убеждался, что так оно и будет, и никак не мог понять, на чём зиждется такая нелюбовь к Бекасу, пока не предположил:

– Похоже, Маринка тебе понравилась.

И Сёрега неожиданно признался:

– Понравилась.

– А может, ты влюбился?

Сашка даже приподнялся на кровати,

– Не знаю, – неуверенно отозвался Серёга. – Только пока мне больше ни с кем гулять не хочется.

– Ну, ты даёшь.

– А тебе Люба не нравится?

– Девчонка она приятная, ласковая, – сказал Сашка и отчего-то смутился. Может быть, потому, что такой характеристики никогда ни одной своей знакомой не давал. – Но если честно, драться я из-за неё не собираюсь.

– Придётся, – пессимистично предрёк Серёга. – Вот появится её Володя... Маринка сказала, что он меня на голову выше. Бугай местный.

– Обрадовал... Но унывать не будем, завтра на вахту, время пожить есть.

– Помучиться, – сказал Серёга, с гримасой переворачиваясь на другой бок. – Как мы эти свечи таскать будем...

И он оказался прав. Мало того, что мужики всю дорогу, а это полдня – сначала на поезде до Братска, потом на вахтовке по разбитой лесовозами дороге, измывались над их видом, а каждое движение болью отдавалось в спине, ещё и вахта выпала – хуже не придумаешь. Перевалили за две тысячи метров и наткнулись на твёрдую породу, такую, что алмазными шарошками проходили по несколько десятков сантиметров. Не больше часа на забое и бурили, потом подъём – почти вся смена, полчаса на замену стёртого долота – и снова спуск. Этих полутора часов передышки явно не хватало для того, чтобы хоть чуть-чуть отойти, распрямиться, успокоить дрожащие от усталости руки, и даже восьмичасовой перерыв между сменами возвращал силы ненадолго.

На третий день, к концу вахты, Сашка уже кидал свечи в магазин наугад, каждый раз ожидая, что двухсоткилограммовая труба улетит мимо ячейки, начнёт гулять по вышке, и тогда бурило Матушкин, усатый и обычно молчаливый, обматерит его так, что красочные эпитеты разнесутся по окружающей их тайге. Но потом и это перестало его пугать, потому что он весь был сплошная боль и усталость. И когда стало ясно, что очередную свечу он уже не сможет подтянуть измочаленным канатом на себя и кинуть на

место, в ячейку, дизели вдруг зашлись на натужной ноте и колонна замерла.

Он наклонился, разглядывая, что делается внизу.

Матушкин кидал рычаг лебёдки вниз-вверх, но колонна не двигалась с места. Рядом с бурильщиком замер Серёга. Даже сверху было видно, что он промок до трусов, при подъёме не избежать душа промывочной жидкостью, но готов был в любую минуту оттащить низ свечи.

Матушкин включал лебёдку, она натужно вибрировала, но колонна оставалась на месте. И хоть ни разу Сашке ещё не приходилось видеть аварий, прошлым летом практика выпала на начало бурения, метры были лёгкие, а подъём-спуск укладывался в пару часов, но он догадался, что это прихват. Где-то там, на глубине двух километров, длиннющая нитка из прочных труб вдруг прилипла-прикипела к стенкам скважины и теперь сопротивлялась многочисленным лошадиным силам, выжимаемым из гудящих на последних нотах дизелей.

Матушкин убавил обороты, оставил рычаг, прошёл в дизельную; не видя, Сашка догадался, что, скорее всего, он сейчас выясняет, сможет ли предпенсионного возраста полуглухой Вихарев, обычно безмятежно дремлющий в грохоте и пропахшей соляркой жаре, выжать из дизелей больше того, что уже выжал. И тот, наверное, пообещал, потому что Матушкин бегом вернулся обратно, и дизели завизжали, переходя с солидного, уважающего себя рокота на явно конфузлив-

вый, натужный визг, и вышка неприятно задрожала. Сашка инстинктивно схватился за перила своей люльки, мысленно советуя Матушкину так не рисковать, и тот словно послушался, теперь уже, судя по всему, надолго выключил лебёдку и пошёл к емкостям с промывочной жидкостью...

Сашка осторожно потянулся, прислушиваясь к болевым ощущениям, обвёл взглядом вагончики, окружающие вышку на отвоёванном у тайги пятачке, разбитую колею, уходящую под разлапистые листовенницы, и попытался разглядеть Ангару, даже на цыпочки встал. Но так и не увидел, до неё было километров двадцать с гаком, но он надеялся всё-таки сходить на неё, порыбачить. Но это планы на потом, сейчас он мечтал только об общении, чтобы не слышать, просыпаясь, призывный гул дизелей, скрипучей кровати, на которой можно будет отлежаться за три дня отдыха.

От вагончиков уже торопливо вышагивал мастер Федя Пташка, совсем ещё молодой, прошлым летом приехавший по распределению из Москвы. Федя был свойским парнем, но явно неопытным, поэтому в чудесное развитие событий с его появлением на буровой Сашка не верил и стал медленно спускаться по гремящим металлическим перекладам, втайне радуясь этой аварии, случившейся так кстати, когда уже сил не осталось никаких, и теперь, оказывается, не только руки, но и ноги не хотели слушаться, неприятно подгибаясь.

Серёга уже сбросил с себя залитую раствором робу, стоял на помосте, жадно втягивая сигарет-

ный дым, тоже явно не огорчённый происшедшим, в отличие от хмурого Матушкина и растерянного мастера.

Сашка только пристроился рядом с ним, жмурясь от предзакатного солнца и радуясь отступающей боли, как бурило, оторвался на них.

– Чего стоите? Марш раствор готовить!

– Куда? – поинтересовался Серёга, и Матушкин отпустил им крепкое выражение, которое заканчивалось ссылкой на ёмкости, где раствор, естественно, и готовят, а не в тазиках, как они думали.

«Готовить раствор» оказалось проще простого, нужно было принести из-под навеса возле вагончика мастера десятка два мешков то ли с каустической содой, то ли с щелочью, и каждый раз, подставляя спину под очередной мешок, Сашка думал, что не сможет сдвинуться с места, но каким-то чудом он перенёс все мешки, которые на него грузили, и даже потом нашёл в себе силы подняться в люльку верхового, потому что Матушкин начал опять измываться над дизелями.

Здесь он ещё с полчаса имел возможность лицезреть заходящее солнце, повариху, вынесшую поесть вислоухому и независимому созданию, то ли Жучке, то ли Полкану, вольно перемещавшемуся по буровой и окрестностям. Повариха его заинтересовала меньше, даже на расстоянии и с верхней проекции она явно была квадратной и старой... Потом отследил сменщиков, дружно вошедших в столовую и спустя десять минут вышедших и неторопливо направившихся на буровую.

На этом их смена и закончилась, а очередная началась. И ещё несколько часов второй бурильщик Андриянов пытался сорвать колонну, досаждая надсадным воем дизелей, но лишь сдвинул её на полметра и прихватил намертво. И, наконец, уже в темноте дизели заработали почти неслышно, выдавая лишь энергию для освещения вагончиков и прожекторов. Теперь можно было насладиться таёжной тишиной.

Федя и бурильщики засели в вагончике мастера возле рации, обсуждая случившееся с далёким начальством, а остальные наслаждались неожиданным отдыхом, изредка сожалея о явно сгоравшей в этом месяце прогрессивке. Сашка и Серёга тоже не торопились ложиться, обоснованно считая, что завтра с утра им на смену всё равно не выходить, а к обеду прикатит новая заездка. Покуривая, стали вспоминать об оставленных в посёлке заботах, среди которых самой неприятной была неизбежная встреча с Бекасом. «И с Любиным женихом», напомнил Серёга. Сашка сказал, что у того никаких претензий к нему не должно быть, потому что он их, жениха то есть и Любы, сложившиеся отношения разрушать не собирается. А вот что касается Серёги, то ему стоит серьёзно подумать, а то ведь не заметит, как Марина его окрутит и до конца практики свадьбу сыграть заставит.

Серёга набылчился, замолчал, а потом неожиданно сказал, что чему быть, тому быть, но Маринку Бекасу он не отдаст и драться с ним будет.

Было очевидно, что назревший конфликт и очередную драку, из которой победителями им выйти явно не удастся, дипломатически разрешить будет нелегко. Но Сашка надежды не оставлял.

...Утром прилетел вертолёт, с трудом приземлившись на расчищенном месте недалеко от цистерны с соляжкой. Из него выпала новая заездка во главе с начальником и главным технологом экспедиции, и им велено было срочно собираться, и на всё про всё вышло не более получаса, пока начальство совещалось в вагончике мастера. Потом начальник экспедиции поднялся в вертолёт, где уже сидели буровики, обрадованные такой халявной скорой дорогой домой, к жёнам, отдыху, баньке с поллитровкой и прочим прелестям праздных дней. Это всё они уже обсудили и заранее порадовались, пока ожидали взлёта.

Обратная дорога сократилась до неприличия короткого, не сравнить с многочасовым традиционным переездом, отрезка времени. Сверху Сашка хорошо рассмотрел излучину Ангары и даже прикинул прямой путь до неё от буровой. А ещё в полной мере оценил бескрайность нетронутой тайги, отчего идти к реке по компасу и одному, как он намеревался прежде, ему расхотелось.

Пока они были на буровой, узнав о драке, скорее всего, от Баламута, Марина и Люба наведались к участковому, а тот предупредил Бекаса, что если заявление от студентов ему поступит, не миновать тому короткого этапа в ближайшую зону.

Об этом им сообщила жизнерадостная Марина, которая нагрянула в общежитие буквально

следом за ними и, бесстыже блестя глазами, тут же увела Серёгу в конец коридора целоваться. Она бы его долго продержала, может, до вечера, если бы не прибежала Даша сообщить, что у Дины – день рождения, и она приглашает их в гости. Маринка тут же заявила, что они обязательно придут, хотя её Даша явно не имела в виду, и стала выяснять, что подарить имениннице. Ничего, кроме каких-нибудь духов из поселкового магазина, на ум ни Серёге, ни Сашке не пришло, и тогда Даша с Мариной взяли решение этого вопроса на себя и удовлетворились щедрыми денежными пожертвованиями, последними наличными, оставив лишь на бутылку вина.

Всё складывалось как нельзя лучше, но когда, уже отмытые, в наглаженных брюках и рубашках, начищенных туфлях, они пылили, но аккуратно, чтобы не испачкаться, по поселковой центральной улице, им встретился высокий крепкий парень, который, проходя мимо, внимательно оглядел их и скривил верхнюю губу, пересечённую белым рубцом. Парня этого они прежде не видели, и какое-то чувство подсказало Сашке, что, вероятно, это и есть Любин жених. И от этого праздничное настроение враз улетучилось, потому что была очевидна разница в весовых категориях. Оставалось только надеяться на трезвое благоразумие потенциального соперника, потому что в конечном итоге между Сашкой и его невестой ничего не было. Так, прошлись пару раз по посёлку, поболтали...

Он хотел поделиться своими соображениями с Серёгой, но, взглянув на его размягчённую физиономию, подумал, что тот сейчас ничего не воспримет.

...Хозяйка сделала имениннице подарок – предоставила в распоряжение большую комнату и ушла из дома. Они оказались самыми первыми гостями. Дина выглянула из кухни, откуда пахло чем-то вкусным, в самом затрапезном виде и велела проходить в их комнату и чем-нибудь заняться.

– А где Даша? – поинтересовался Сашка.

– Это я хотела бы у вас спросить, – прокричала Дина и чертыхнулась на что-то шипящее.

– Да не отвлекай ты её, – дёрнул его за рукав Серёга. – Даша с Мариной пошли подарок покупать.

Поставил на стол вино, прошёл в комнату, сел на единственный стул напротив висящего на стене зеркала.

Сашка помедлил и решительно опустился на Дашину кровать.

Взял лежащую на подушке гитару с голубым бантом.

– Сбачай чего-нибудь? – попросил Серёга.

– Лабуду?.. – вопросительно произнёс он, пощипывая струны.

По поводу своей игры и тем более пения Сашка не обольщался и, будь рядом Даша, ни то, ни другое делать не отважился бы, но Серёге уже приходилось слышать его сольное исполнение, и он не стал стесняться.

Из маленького репертуара почему-то вспомнился Высоцкий:

*Если друг оказался вдруг
И не друг и не враг, а так...
Если сразу не разберёшь,
Плох он или хорош...
Парня в горы тяни, рискни,
Не бросай одного его,
Пусть он в связке с тобой одной...
Там поймёшь, кто такой...*

Но так и не допел, понимая, что только опешляет песню: лучше самого автора не споёшь, а таких голосов больше нет.

Для контраста затянул:

*Сырая тяжесть в сапогах,
Роса на карабине,
Кругом тайга,
Одна тайга,
И мы – посередине.
Письма не жди,
Письма не жди.
Дороги опустели...
Идут дожди,
Стеной дожди –
Четвёртую неделю...*

В большой комнате затопали, зашумели, и они вышли поглядеть, что стряслось, но на них тут же зашикали собравшиеся в кружок Марина, Даша и

именинница и заставили прикрыть дверь. Ничего не понимающие, они послушно замерли перед дверью, пока Маринка не распахнула её.

– Мальчики, мы от вашего имени подарок уже вручили.

– Без нас? – удивился Сашка. – А что подарили?

– Пусть это останется тайной. Но не переживайте, имениннице он понравился. Подтверди, Дина?!

– Очень! – раздался из кухни голос именинницы, а следом появилась и она, раскрасневшаяся, непричёсанная, со свёртком в руке. – Расставляйте посуду, давайте садиться за стол, – помедлила, прежде чем скрыться в комнате. – Будьте как дома. Я сейчас себя приведу в порядок...

Закрыла за собой дверь.

– А гости ещё ожидаются? – негромко поинтересовался у Марины Сашка.

– Не знаю, – так же тихо ответила она. – Спроси у Даши.

И прилепилась к Серёге, не замечая больше Сашку.

Он прошёл на кухню.

Даша укладывала на тарелки горячие, ароматные пирожки, периодически обдувая пальцы. Он подождал, пока она справится с последним, спросил:

– Может, помочь?

– Неси тарелки, – приказала она. – Пусть Марина накрывает.

– На сколько... персон?

Даша задумалась, шёпотом считая, наконец, твёрдо произнесла:

– На восемь.

– О-о... – протянул он, не скрывая удивления и гадая, кого ещё они могли пригласить. – А где же остальные гости?

– Подойдут, – отмахнулась Даша и протянула стопку тарелок. – Неси, только аккуратно, хозяйкины.

Пока они вдвоём накрывали стол, Серёге с Мариной не до того было – обнимались, не теряя времени попусту, подошли ещё гости: два парня, однокурсники девчонок, Валентин и Савелий. Валентин был откровенным блондином, каких ни Серёге, ни Сашке видеть не приходилось. У него были светло-голубые, словно выцветшие, глаза и белые длинные, до плеч, волосы. Когда он стоял рядом с Дашей, а он был почти такого же роста и комплекции, в цветастой, женского фасона, прилаженной рубашке, со спины его вполне можно было принять за девчонку, а Дашу, с её короткой стрижкой и в узких брючках, – за пижонистого парня. Валентин был коренной москвич, что стало очевидно с первых же слов: «А у нас, в столице-матушке...». Он окинул надменным взглядом присутствующих, неохотно протягивая сложенную лодочкой длинную белую ладонь, и без стука зашёл в комнату к имениннице. Видно было, что имел на это право.

Савелий, тоже почти москвич, из подмосковного Жуковского, повыше и покрупнее друга, несмотря на своё старомодное имя, был вполне

современным и общительным парнем. Он тут же подключился помогать, охотно делясь впечатлениями от практики, которую они проходили на буровой, стоящей на берегу Братского моря, на той, где в прошлом году работал Сашка.

– Я думал, её уже прошли, – удивился Сашка.

– Хотели. По проекту должны были на двух тысячах метров. А потом геофизики сказали, что на двух с половиной километрах линза есть. А там такая порода... Сантиметрами вгрызаемся. – пояснил Савелий.

– Знакомое дело, – покивал Сашка. – У нас тоже прихват. Другой заездке повезло, пару дней точно отдохнут. А вы помбурами пашете?

– Мы – геофизики. Наше дело – приборы.

– Тогда вам легче, – разочарованно вздохнул он, понимая, что профессионального обмена мнениями не получится.

Вышел Валентин, за ним – именинница, уже с наведёнными глазами, причёсанная, в узеньком и коротком кремовом платье, отчего выглядела девчонкой-школьницей, только бантиков не хватало. Об этом Сашка и сказал, ловя откровенно недружелюбный взгляд Валентина.

Подумал, что вот ещё и этому столичному снобу придется объяснять, что ухаживать за Диной он не собирается. Другое дело – за Дашей... Если, конечно, у них с Савелием ничего серьёзного.

– Всё, садимся, – провозгласила именинница, занимая место во главе стола. – Опоздавших не ждём...

Все охотно и шумно расселись, плотоядно окидывая стол с дымящейся картошкой, пирожками, салатами, селёдкой... Савелий открыл бутылку водки, стал наливать, вопрошающе замирая над рюмками девчонок, но вино изъявила желание пить только Марина.

Именинница выпила до дна. Дашу пришлось убеждать, что зла подруге оставлять не надо, и та, морщась и громко сожалея, что не выбрала вино, выпила. Сашка нацепил на вилку кусок янтарной селёдки, протянул ей, и она, вопрошающе вытянув губы, охотно приняла его подношение. Он понял, что, скорее всего, у них с Савелием ничего не было, и от этого взбодрился, стал внимателен и услужлив.

Потом выпили за родителей Дины, отдавая им должное за ночной труд, во время которого и было совершено чудо зачатия такой замечательной девушки, и после этого заговорили наперебой, делясь интересным, что случилось с каждым за последнее время.

Этот сумбурный разговор прервало появление запоздавших неожиданных гостей. Сначала в дверном проёме появилась смущённо улыбающаяся Люба, за ней, возвышаясь на целую голову, а то и выше, – тот самый встреченный на улице парень, подтверждая Сашкину догадку. Дина поспешила навстречу, приняла коробочку духов, бутылку вина, и тут выяснилось, что приглашала она не Любу, она только сейчас с ней познакомилась, а Вову, с которым они работают на одной буровой.

– Замечательный парень, – представила она его Валентину, скривившему тонкие губы – то ли в улыбке, то ли в ухмылке. – Он нам так помогает... А это – его невеста, правильно я поняла?

Люба, улыбаясь, опустила голову, а Вова закивал.

Дина усадила их напротив Саши и Даши и тут же предложила налить опоздавшим штрафную.

– За именинницу, – пробасил Вова и неторопливо, не морщась, выпил.

Люба пригубила вино, но сидевший рядом Савелий поставить бокал не позволил, стал что-то шептать ей на ухо, она слушала, улыбаясь, и наконец решительно допила вино.

Сашка вдруг ощутил необъяснимую ревность.

Повернулся к Даше, предложил выйти подышать свежим воздухом, а заодно и перекурить, и она охотно согласилась.

Вечер был замечательный. Тёплый, пахнувший тайгой, окружавшей посёлок, и молоком: леспромхозовские все как один держали коров. Они сели на крыльцо, закурили. Даша сказала, что в Москве о такой тишине можно только мечтать и она несказанно рада, что приехала на практику именно сюда. Теперь будет иметь представление о Сибири, тайге.

Сашка обнял её, сильно прижал к себе.

– И буду знать, какие сибиряки, – со смехом добавила она, но отстраняться не стала, и он поцеловал её в губы, с волнением ощущая горячее и податливое тело.

– Пошли к остальным, – вдруг поднялась она, не отпуская его руки, потянула за собой.

...Стол был сдвинут в сторону. Савелий играл на гитаре нежное и неторопливое танго, остальные танцевали. Даша положила Сашке руки на плечи, и они присоединились к танцующим.

Периодически они встречались взглядами с Любой, и та загадочно улыбалась, словно знала нечто, что ему не дано было знать.

Савелий играл хорошо, причем не аккордами, а как положено, он закончил музыкальную школу по классу гитары, и он их раззадорил. Сидеть за столом больше никому не захотелось и, чтобы не эксплуатировать Савелия, решили идти в клуб на танцы.

Пока девчонки наводили порядок, ребята постояли на улице, покуривая и привыкая друг к другу. Правда, к Валентину это не относилось, он сразу отошёл в сторону, сорвал в палисаднике какой-то цветок и демонстративно нюхал его. Савелий с Вовой нашли общую тему, стали обсуждать песни Высоцкого. Вове они нравились, а Савелий считал, что музыки в них нет. Сашка попытался было вклиниться в разговор, напомнив, что совсем рядом с буровой, где практикуется Савелий, он огромных щук ловил, но, судя по реакции, оба рыбаками не были, тему не поддержали, и он подошёл к Серёге.

– Мы вроде с тобой на танцы не собирались сегодня, – негромко напомнил.

– Куда деваться, воля дамы – закон. – оптимистично отозвался тот.

– Бекас скорее всего там. – многозначительно сказал Сашка.

– Вот и выясним отношения.

– А Вовик? – вопросительно произнёс он, поглядывая на большого Любиного жениха.

– А что Вовик? Судя по всему, неплохой парень. Скажи ему, что Люба тебя не интересуется, и все дела.

– Ты так думаешь? – усомнился Сашка.

– А ты что, имеешь интерес? – проницательно отозвался тот.

– А ты к Марине?

– Она мне нравится, – лаконично ответил Серёга. – И давай закроем эту тему.

Весело щебеча, вышли девчонки, сбежали с крыльца, подхватили под руки кавалеров, а Дина сразу двух: и Валентина, и Савелия, и не заметили, как за шумной болтовнёй дошли до клуба.

Танцы были в разгаре. Они толпой ввалились в зал, потеснив танцующую публику, образовали круг, задёргались в модном шейке, и так, не отходя к стенке, протанцевали до самого конца вечера, то все вместе, то парами: Сашке всё время выпадало танцевать с Дашей, потому что Савелий подцепил какую-то местную, а остальные меняться партнёрами не хотели. И только уже в самом конце, по инициативе Дины, вдруг пригласившей Вову, он пригласил и неловко повёл Любу, почему-то ощутив волнение и не находя слов для начала разговора.

Она первой прервала затянувшуюся паузу.

– Даша – симпатичная девушка, – со скрытым вызовом произнесла она. – Тебе с ней интересно?

– Нам есть о чём поговорить. – не совсем уверенно отозвался он и откашлялся – в горле вдруг запершило.

– О студенческой жизни?

– Не только...

– О чём же, если не секрет?

– Никакого секрета. Она в прошлом году была в Карелии. Рассказывала, какие там замечательные места, сколько озёр. Рыбалка отменная. Вот, думаю, надо бы...

– Она тебе нравится? – вдруг перебила Люба.

– Не знаю, – неуверенно отозвался он.

– А я?

Она подняла глаза.

Их взгляды встретились.

Он вдруг услышал, как стучит его сердце.

– У тебя есть Вова.

– А я тебе нравлюсь? – повторила она, подавшись к нему.

Длинные волосы, знойно пахнущие луговыми травами, коснулись его лица.

– У неё красивая стрижка, – неожиданно для себя ляпнул он какую-то нелепицу.

Люба отстранилась, вскинула голову, глядя ему в глаза, улыбнулась. А он поверх её плеча перехватил настороженный взгляд Вовы, танцующего неподалеку.

– Только поэтому?

– Что?.. Да, – ответил он, думая совсем о другом.

Танец кончился.

Заведующая клубом, полная усталая женщина, судя по постному выражению лица, давно и бесповоротно забывшая свою молодость, стала отключать радиолу, показывая, что больше продлевать вечер не намерена, и они остановились посередине зала, всё ещё продолжая обнимать друг друга. И Сашка вдруг подумал, что ничего с Вовой он выяснять не станет и пусть всё идёт так, как суждено...

Подошёл Вова.

Люба неохотно убрала свои руки с Сашкиных плеч, шагнула к нему.

Откуда-то вывернулся, заулыбался-заблестел прищуренными глазками Бекас. Выгнулся в притворном поклоне.

– Какая компания...

И уставился на подошедшего Серёгу.

– Ну что, драться будем? – напористо спросил тот, убирая из-под своего локтя руку Марины. – Давай, по-честному. Без кофлы.

Бекас сплюнул.

– А ты не из трусливых. – вмешался Вова, с явным интересом оглядывая Серёгу.

Люба потянула его за рукав, он нагнулся, и она что-то шепнула ему на ухо. Он повернулся к Бекасу.

– Митяй, ты его не трогай. И другого тоже.

– Вовик, да как же...

– А вот так! – с неожиданно жёсткой ноткой в голосе оборвал его Вова. – За меня вступаться не надо, я сам разберусь. А если с ним один на один хочешь – давай. Он же не против.

– Ну, друг закадычный, я тебя не узнаю, – сжал в узкую полоску губы Бекас. – У него, можно сказать, невесту уводят.

– А вот это не твоё дело, – с явной угрозой произнёс Вова.

– Ладно, ладно, – отступил Бекас. – Только ты мне тоже не советуй, я тоже сам разберусь.

Он круто повернулся и вышел из клуба. За ним выскочили его корешки.

– Ладно, бывайте, – сказал Вова, уверенно обхватив Любу за талию.

Даша, с любопытством наблюдавшая за всем происходящим, подцепила Сашку под руку, зашептала:

– А кто кого уводит?

Взглянула на Серёгу, потом на Сашку и переспрашивать не стала.

Дина с Валентином и Савелий куда-то исчезли.

– По домам? – поинтересовался Сашка, понимая, что Серёга с Мариной явно расставаться не собираются.

– Я домой, – торопливо произнесла Даша. – Куда-то Динка пропала и ребята. – Она оглянулась по сторонам. Посмотрела на Сашку. – Проводишь? Или другие планы?

– Какие могут быть планы, – ответил он и, обхватив Дашу за плечи, весело добавил: – А может, погуляем?

– Ну уж нет. И так ноги гудят, натанцевалась.

– Тогда поплывём к причалу.

После прокуренного зала вдохнуть полной грудью свежий таёжный воздух – одно удовольствие. И настроение сразу поднялось.

Теперь уже Сашке совсем не хотелось идти в общежитие. Вчетвером они дошли до дома девчонок, посидели на скамеечке, потом Марина потянула Серёгу в темноту, и они исчезли, напутствуемые Сашкиным пожеланием не повстречаться с Бекасом.

Сашка попытался поцеловать Дашу, но она не позволила, упёрлась ладонями в грудь, ехидно поинтересовалась:

– Отчего вас так на деревенских тянет?

– Серёгу, что ли?.. Говорит, что понравилась ему Марина.

– А тебе – Люба?

– Хорошая девчонка, но у неё жених есть...

– Да ладно... Хотя я бы Вову на тебя не променяла.

Даша поднялась, пошла к калитке.

– Это почему же? – обиделся он.

– А я люблю меланхоликов. И больших.

– Ну и отбей его у Любы.

– Да ты не обижайся, – она остановилась за калиткой. – Он правда в моём вкусе. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

Он не стал ждать, пока она поднимется на крыльцо, и пошёл в общежитие...

Остальные дни отдыха прошли на удивление спокойно. Марина каждый вечер уводила куда-

то Серёгу. И каждый раз Сашка ждал его возвращения с боевыми отметинами, но, похоже, Бекас уехал на делянку или по счастливой случайности с влюблённым не встречался.

Сашка записался в поселковую библиотеку, набрал книг и журналов и целыми днями читал, решив забыть обо всех девушках сразу. Баламут тщетно подбивал его на дружеские беседы за стаканом шмурдяка или самогона – он был непреклонен, предпочитая всем удовольствиям только духовное.

Иногда всё же становилось скучно, вдруг вспоминалась Люба, хотелось её увидеть. И тогда он решительно откладывал книгу и шёл к девчонкам, по дороге подменяя вопрошающий и непостижимый образ Любы на понятный – Даши. Но и в первый, и во второй вечер дома их не застал.

А потом пришло время ехать на вахту.

Памятная осень

В этот раз добирались традиционно – поездом и машиной. Серёга всю дорогу отсыпался, накануне пришёл под утро, зацелованный и облаканный до неприличия. Они последнее время общались мало, а о Марине так совсем не говорили, но Сашка не сомневался, что она для Серёги теперь дороже всего остального.

Предыдущая заездка так и не сорвала колонну, хотя на буровой постоянно жили главный технолог и инженер по авариям. И уже шли разговоры о том, чтобы зацементировать пробуренную

скважину и идти новым стволом, что обещало лёгкие метры и отдых для верхового. Но на месте оказалось, что такое решение пока не приняли, хотя действительно раскачали колонну всего метра на полтора.

Предыдущая вахта была бодрой, желала им тоже потаскать мешки с компонентами для специального промывочного раствора большей вязкости, потому что это всё-таки было легче, чем делать спуск-подъём, но как раз в их вторую смену – первая ещё полежала на солнышке, белея, хоть и лето близилось к концу, мужскими незагорелыми телами, колонна пошла.

Сначала сквозь надрывный вой дизелей стали проявляться пугающие звуки: вышка начала явно потрескивать, и собравшееся у лебёдки начальство отошло подальше, но команды остановиться не отдало, и Матушкин, украдкой перекрестившись, придавил рычаг, и она пошла. Почти незаметно, но двинулась вверх, тросы натянулись и словно сделались тоньше, зазвенели на вечернем ветерке, а потом тоже двинулись, одни – вверх, другие – вниз, и теперь уже никто не прислушивался к всё ещё гудящей вышке, а взглядом помогал колонне, тащил её, и, наконец, она дошла до резьбового соединения, и Серёга кинулся откручивать свечу, а зазевавшийся Сашка загремел сапогами по лестнице и обхватил свечу канатом, ещё не отдышавшись, хватая вечерний воздух широко открытым ртом, но бросил её точно, в дальний угол магазина. А элеватор уже с визгом полетел вниз, замер над торчащей из скважины

колонной, остро запахло горящими тормозами, и в другой раз инженер по авариям обязательно выговорил бы Матушкину за такое лихачество, но теперь промолчал, понимая, что чем быстрее поползёт вверх колонна, тем больше шансов вырваться из захвата...

На этот раз колонна пошла быстрее, но ещё чувствовалось напряжение. Зато следующая свеча вылетела уже на рабочей скорости, и дизели запели привычную для уха песню...

Всю смену они делали подъём, оставив сменщикам каких-то двести метров, а тем опять повезло: после подъёма начальство и почерневший и осунувшийся за эти дни мастер Федя опять решили: идти дальше этим стволom или же обсадить скважину, закрыв тем самым место прихвата. Андриянов со своими мужиками сачковал, кемаря или бесцельно прохаживаясь по буровой. А те спорили, кричали по рации на базу, беспрестанно курили, отчего дверь в вагончик мастера всё время была открыта, а их надрывные голоса, перемежаемые скрежетом и писком эфира, долетали и до спального вагончика, где ворочались в чутком сне сменившиеся буровики Матушкина.

Просыпаясь от этих криков и под них же вновь проваливаясь в зыбкий сон, отмечая ровный рокот дизелей, Сашка надеялся, что и утро будет таким же спокойным, но база настояла, чтобы рискнули встать на забой ещё раз, не меняя промывочную жидкость, и они заступили на смену в середине спуска, а во время обеда, когда от столовой потянуло борщом с галушками и слюна сама

собой стала собираться во рту, встали на забой и начали бурить.

В другой бы день Матушкин отпустил всех на обед, остался у лебёдки один, а потом его подменил бы первый помощник, но на этот раз все остались на своих местах, настороженно поглядывая на медленно вращающуюся колонну и прислушиваясь к рокоту дизелей. И Матушкин на этот раз на забое не выделялся, не передавливал, не давал сантиметры и уже через полчаса, пройдя не более полуметра, замахал верхонкой, собирая всех на места, и они начали подъём, такой же стремительный, с визгом лебёдки и запахом горящих тормозов, как и накануне, пока не миновали место прихвата и не вошли в обсадную трубу.

И только тогда Матушкин скомандовал на обед.

Они ели уже остывший, но всё равно очень вкусный борщ с галушками и гуляш с макаронами, а пожилая и добрая повариха Варвара Матвеевна щедро предлагала добавки и даже уговаривала зацепить ещё ложечку, потому что за прожитые годы понимала, кого и как следует кормить...

После обеда подниматься наверх, в люльку, и таскать свечи совсем не хотелось. Да и остальные расслабились, перекуривая возле лебёдки, а не как обычно, на ходу, словно надеясь на то, что время ускорит свой ход. Но оно было непреклонно, и до конца своей смены они половину колонны вытянули...

А потом пошла обычная работа, из смены в смену, и когда наконец на разбитой пыльной

дороге показался вахтовый вездеход с новой заездкой, авария и всё, что было с ней связано, почти стёрлись из памяти.

Матушкин остановил лебёдку, как только увидел машину, вскинул вверх сложенные накрест руки, показывая верховому, что всё, шабаш, их работа закончена. Сашка не сразу понял это, всё ещё ожидая свечу, держа наготове пропитанный промывочной жидкостью канат, и только когда увидел быстро уходящего к вагончикам Серёгу, откинул канат на железные перила, опустился на мокрый от раствора пол люльки и стал разглядывать вылезающих из машины полупьяных и оттого бесшабашно весёлых и громогласных мужиков, залитую солнцем тайгу, уходящую до самого горизонта. И вдруг всё это закачалось, начало расплываться, и он забылся...

Как долго длилось это забытие, он определить не смог, но вроде бы не так долго: мужики всё ещё колготились возле вагончика мастера и столовой, не торопясь натягивать на себя робы, но оголённый до пояса Серёга уже плескался под умывальником.

Сашка поднялся на дрожащие и неожиданно слабые ноги, медленно спустился по гроыхающей лестнице, зачем-то отсчитывая ступеньки, добрёл до вагончика, опустился на скамейку возле стены.

– А ты чего не собираешься?

Серёга уже был в цивильном, вымытый и наодеколоненный, и можно было не сомневаться, мысленно перелетевший расстояние до посёлка

на крыльях любви и так же мысленно уже сжигавший Марину в объятиях.

– Думаю, – тихо отозвался Сашка, прислушиваясь к себе и удивляясь навалившейся усталости.

И представить, что нужно идти умываться, переодеваться, а потом лезть в машину и трястись пару часов, держась друг за друга и глотая табачный дым, потому что все отчаянно курят в дороге, а потом ещё бежать по перрону за набирающим скорость поездом, качаться в душном и шумном вагоне тоже не было сил. И всё-таки он поднялся, обмыл лицо и руки, зашёл в вагончик, где уже всю хозяйничали буровики новой заездки, переоделся, пошёл к машине.

Серёга уже сидел на лавке возле распахнутой двери. Место это было самое тряское, но зато можно было глядеть в заднее окно без стекла на остающуюся позади дорогу, отчего поездка не казалась столь бесконечной.

– Давай, залазь, – похлопал он лавку рядом с собой.

Сашка всё медлил, стоя у машины, пока не забрались все и не стали поторапливать его, и тогда вдруг махнул рукой, сказал:

– Останусь я. Серж, ты мне конфет привези, сладенького хочется.

– Ты чего? – удивился Серёга. – Уши не болят?

– Всё болит, – признался Сашка, опять заколебавшись, представив, как будет по ночам просыпаться от завывания дизелей.

– Жовнер, ты чего резину тянешь? Наталью увидел? Компоту её захотелось? – высунулся

нетерпеливый первый помбур Гоша, из-за ранней седины казавшийся старше своих тридцати лет и упорно сватавший Сашку к поварихе второй заездки, моложавой и одинокой женщине, пару лет назад похоронившей мужа, попавшего по пьянке под лесовоз.

– Нынче студент бойкий пошёл, – вставил из кабины размягчённый успешной ликвидацией аварии и рассчитывающий на вполне заслуженный отдых и похвалу начальства мастер Федя. – На сладенькое так и тянет...

– Как медведя осенью, – пробасил из глубины кузова Матушкин и крикнул водителю: – Трогай, все на месте!

Тот завёл машину, выждал, поглядывая в зеркальце на Сашку, и Серёга придержал дверь.

– Залазь!

– Баста, не еду, – отбросил последние сомнения Сашка и, махнув рукой, повернувшись, пошёл к вагончикам.

Серёга нерешительно прикрыл дверь, вездеход закачался, переваливаясь на буграх, укатил за сосны, подступавшие к буровой.

Сашка, провожая взглядом машину, представлял, как сейчас мужики придерживают друг друга, чтобы не свалиться на пол, и так будет до той поры, пока она не выедет на укатанную лесовозами прямую дорогу на Братск, а оттуда... И он чертыхнулся, потому что только теперь понял, чем он может заняться, и надо было ехать со всеми, потому что с той самой леспромхозовской дороги до Ангара совсем рукой подать...

Мужики уже неторопливо поднимались на буровую, были они в этой заездке все степенные, семейные, и бурильщик у них был широкий и добродушный, а вот как его зовут, Сашка не помнил, да и остальных знал плохо и оттого чувствовал себя не совсем уютно.

Возле вагончика сутились, нещадно дымя «Беломором» и лениво переругиваясь, трезвеющие и от невозможности выпить злые буровики из следующей смены. Только дизелист, высокий и худой старик с морщинистым лицом, был трезв и, сидя на скамейке, штопал замасленные штаны. Сашка так и не вспомнил бы, как того зовут, но тут один из буровиков поинтересовался, чего это Степаныч вышивает, и Сашка решительно присел с ним рядом, наблюдая за корявыми, но сильными пальцами, заталкивающими толстую иголку в плотную ткань, и раздумывая, как исправить то, что сгоряча совершил: найти место, чтобы переночевать сегодняшнюю ночь, чего поесть, вряд ли кормить его будут из чужого общего котла.

С другой стороны, ему и надо всего буханку хлеба да щепоть соли, уж рыбы он наловит... Хорошо, с собой в рюкзаке леска и мушки, коробочку с ними ещё с самого первого раза возит, думал, что Ангара течёт рядом с буровой.

– А ты чо со своими не уехал? – спросил Степаныч, подняв морщинистое лицо и окинув его внимательным взглядом.

– Да вот, хочу порыбачить.

– На Ангари, чо ли, собрался?

– На Ангари...

Степаныч снова наклонился над штанами, сделал несколько стежков, завязал узел, перекусил жёлтыми крупными зубами толстую, замасленную нитку.

– А сколько тут напрямую? – спросил Сашка.

– Прямоком?.. С десятков вёрст наверняка будет. Только в тайге прямо не ходят. Дольше получается. А по ЛЭПу, так добавляй коэффициент...

– А какой коэффициент?

– Да раза в два, а то и поболее.

– А вы ходили по этому... ЛЭПу? – поинтересовался Сашка.

– Приходилось. – Степаныч встал, вытянув перед собой, оглядел штаны на просвет, остался доволен. – Как сюда заехали, пока ещё не забурились, с монтажниками и сходил.

– Рыбные места? – поинтересовался Сашка.

– Ловится... Только если соберёшься, отправляйся на рассвете, нынче не успеешь, в тайге заночуешь. Ты, поди, городской?

– Не совсем... А где эта ЛЭП?

– А опоры металлические увидишь, вот под ними и шагай... Я в ночную пойду, ты на моих нарах и поспи. Заспишься, я тебя на рассвете подниму.

– Спасибо.

– И к Наталье зайди, она баба добрая, с пониманием, хлеба да тушёнки пару банок попроси, не стесняйся. А то ведь рыбацкий фарт не всегда бывает.

– Спасибо.

– Да чего там.

Степаныч исчез в вагончике, а Сашка остался сидеть, поглядывая на солнце, которое ещё висело довольно высоко над деревьями, и прикидывая, что вполне может дойти до Ангары ещё и сегодня, он ведь побыстрее, чем Степаныч, ходит...

Из столовой вышла повариха, долила воды в умывальник, прибитый на вкопанном столбе, задержалась, глядя на Сашку.

Она и при первой встрече так на него смотрела, и потом каждый раз, когда встречались при перемене, словно что-то припоминая, отчего Сашке становилось не по себе. Может, прав Гоша, и она положила на него глаз, но вот она ему совсем не нравится. Мосластая, с длинными костистыми руками, длинным туловищем и непропорционально маленькими ногами. Хотя лицо вполне симпатичное. Да и не старая ещё.

Вдруг вспомнил Лариску Шепетову, подумал, что если бы этих двух женщин смешать вместе, а потом по новой вылепить, вполне могла получиться настоящая красавица... Впрочем, похоже, ни Лариска, ни Наталья особо от своей некрасивости не страдали. Лариска завлекала мужиков умными речами и собиралась замуж за главного инженера партии, в которой в прошлом году проходила практику. Тот был лет на десять старше, женат, но ради неё бросил семью и почти каждый месяц прилетал в Иркутск из Бурятии. Наталья тоже вниманием не была обделена, Сашка видел, как подбивали к ней клинья мужики.

Она опять вышла из вагончика, выплеснула из ведра за заднюю стену грязную воду, наверное, картошку мыла, и вдруг крикнула:

– Чо сидишь, студент? От вахтовки отстал?

– Почему отстал, просто не поехал.

– А чо так?

– Порыбачить решил.

– Рыбак, чо ли? А где ж ты ловить собрался, кругом тайга.

– На Ангаре.

Она помолчала, шагнула в дверь, потом оставилась, позвала:

– Да ты иди сюда, не съем. Чо перекрикиваться-то...

Сашка оглянулся: мужики разбрелись, никто на него и повариху внимания не обращал. Разве что верховой всё видит, хотя уже спуск начался, не до оглядывания окрестностей ему.

Он поднялся со скамейки, зашёл в столовую.

Повариха суежилась у плиты, и он присел за крайний стол, за который садился обычно.

– А не заблудишься? – спросила вдруг Наталья, повернув голову, и тут же отвернулась, продолжая нарезать картошку.

– Мне Степаныч подсказал, чтобы по линии электропередач шёл.

– Сейчас пойдёшь?

– Наверное... – Он помолчал и уже твёрдо сказал: – Да, сейчас.

Наталья отложила нож, повернулась, вытерла руки краем фартука, вытащила из шкафчика две булки хлеба, большую банку тушёнки, банку

стужёнки. Выложила на стол перед ним с десяток картофелин, пару головок лука. Отсыпала из пачки на бумажку, вырванную из тетрадки, в которой она расписывала меню, соли.

– Хватит?

– Мне? – уточнил Сашка. – Конечно, хватит. – Торопливо поднялся. – Я сейчас рюкзак принесу.

– А может, картохи поболе?

– Нет, спасибо.

Он метнулся в вагончик, где из-под своей, занятой теперь храпевшим буровиком, кровати вытащил рюкзак, с которым ездил на буровую. Вернувшись, сложил в него продукты.

– Я там ещё перчика добавила, к ухе-то... – сказала Наталья, отрываясь от кастрюль и окидывая его тем же изучающим взглядом. И вдруг с нескрываемой печалью произнесла: – Ты на мужика моего сильно похож. Моложе только. Будто ожил...

И продолжала смотреть.

Сашка отвёл взгляд, наклонил голову над сумкой, перекладывая, поправляя и думая, что шея у Натальи длинная и непостижимо красивая. И грудь совсем девичья. Да и на вид ей не так уж и много, может, лет на пять всего и старше.

– Рыбы-то принеси, – игриво добавила она, вернувшись к прерванному делу. – Давно хариусом никто не угощал.

– Принесу, – пообещал он, выскакивая за дверь.

Теперь он знал, что делать. Солнце ещё стояло высоко, двадцать верст, пусть даже с гаком,

вполне можно пройти до заката. Это не свечи таскать, он глянул в сторону буровой, периодически рыкающей дизелями. Заскочил в вагончик, хотел было переобуться в сапоги: кеды не совсем подходили для таёжного похода, но, взвесив те в руке, подумал, что трасса – это всё-таки не тайга, а на берегу по камням в кедах даже удобнее. И дойдёт быстрее.

Ещё раз проверил лежащие в боковом кармашке рюкзака снасти, перехватил у Степаныча коробку спичек, пачку крепких сигарет. Тот ещё дал свой охотничий нож, длинный, с остро заточенным лезвием, вложенный в деревянные, выглаженные временем ножны, забраковав его перочинник.

– В тайге с такими не ходят, это для города игрушка. Удова хорошего не срежешь, не говоря уж о другой надобности. Да и всяко может быть, ежели без ружья, а мой нож по-всякому проверен, и волка возьмёт.

– Было дело?

– Всяко бывало, – уклончиво отозвался Степаныч. – Не оброни только.

И, выйдя из вагончика, напутствовал ещё раз:

– На дорогу выйдешь, по ней вправо, от города иди, а там скоро и ЛЭП увидишь.

И ещё что-то говорил, но Сашка уже не слышал, торопливо пылил по колее, понимая, что ночевать лучше всё же на берегу Ангары.

...То, что иного как дойти до реки хоть в темноте, не дано, он убедился, когда начало смеркаться, а он всё ещё вышагивал по трассе, не такой уж

ровной и лёгкой, как ему представлялось. Лишь солнце стало заходить за верхушки деревьев, как взвились и зазудели над ним полчища комаров. Вроде всё взял, всё предусмотрел, а вот об этой живности не подумал. И хоть жарко ещё было, тем более на ходу, пришлось накинуть на рубашку робу, прихватил с собой на всякий непредвиденный случай, мало ли – занепогодит, её те проколоть не могли.

И всё-таки он успел, до темноты вышел на крутой выступ, с которого по набитой тропинке – значит, людное и рыбное место! – спустился на каменистый берег, оставив позади комариную эскадрилью, не устоявшую против ветерка, тянущего от реки, и упал на ещё тёплые камни, вытянув дрожащие ноги и ничего больше, как вот так отлежаться, пока они перестанут гудеть, не желая.

Так и забылся до предрассветного холода и голодного посасывания в желудке. Но зато вскочил отдохнувший и суетливо засновал по берегу, собирая сухие ветки, прибитые в половодье водой. Скоро между камней затрещал, завеселил костёр, хотя он уже и не очень был нужен: из-за таёжной стены на другой стороне Ангары выкатилось солнце и зажелтило берег, прибрежную гальку, забираясь всё выше и выше по скалам, пронизывая зелёную стену и на этом берегу.

На недалёком перекате вскинулся крупный таймень, звук раскатился солидный, долгий, и Сашка ощутил нетерпение. Продавил ножом Степаныча дырки в сгущёнке, отломил горбушку

хлеба, поливая её молоком и запивая ангарской прохладной водой, стал торопливо жевать, одновременно поглядывая на перекат, надеясь увидеть играющую рыбу. А дожевав, засуетился, отчего выбрал не совсем подходящее для удилица берёзовое деревце, да и леску привязал короткую.

Но переделывать ничего не стал. Пошёл к перекату, бросил в белопенный водоворот и тут же ощутил мощный рывок. Достал одного, следом второго, радужно отливающих хариусов и в азарте ещё долго бросал в уловистые, на его взгляд, места, хотя больше для ухи ему и не надо было, обратно идти ещё через день, а за это время никакая рыба не сохранится. пожалел, что не догадался взять побольше соли, но теперь не обернёшь всё вспять...

Солнце уже высветило оба берега, реку, широкую, величавую, тайгу по её берегам, полновластную хозяйку здешних просторов, которая на вид была строгой и недружелюбной. Невозможно даже было вообразить, что на этих берегах под мощными лиственницами, кедрами или пихтами вдруг расположится на пикничок весёлая компания. Прибайкальская тайга на взгляд Сашки, которым он сейчас окидывал берега, разделявая рыбу на мокром валуне, была гостеприимней здешней. А пригородная, возле Иркутска, совсем домашняя, обжитая не хуже городских улиц. Он с ребятами из секции горного туризма один Новый год встречал среди живых зелёных ёлочек. И помнится, они пытались другу друга пугать, выскакивая из-за заснеженных разлапистых деревьев,

но не пугались. Там он не ощущал отторгающего напряжения, исходящего от этой приангарской молчаливой таёжной стены. Серые скалы и слабо накатывающаяся волна, порождённая перекатом, и то казались ему более приветливыми.

Он ополоснул вычищенную рыбу, пристроил на камнях кастрюльку (если бы не Наталья, забыл бы прихватить!), разложил под ней костерок, бросил пару картофелин, а когда вода закипела, положил рыбу и, втягивая ароматный запах, понял, что проголодался.

Такой вкусной ухи есть ему ещё не приходилось. Может, оттого и напузырился так, что в сон потянуло. Тут же, на прогретых камнях, возле потухшего костра, пристроился на разостланной робе, блаженно подставив пока не жгучему солнышку не очень-то загорелое тело, наслаждаясь сытостью, тишиной, ничегонеделаньем и полным отсутствием каких-либо планов.

В синем бездонном небе на невообразимой высоте застыла парочка почти прозрачных белесых облаков. Из прогретой тайги ветерок доносил густой запах хвои, останавливая течение времени. Неназойливо, лишь оживляя эту тишину и словно напоминая, что время всё-таки движется, пересвистывались невидимые таёжные птицы. Река катила свои чистые воды, которые неподалеку вливались в могучий Енисей, а дальше смешивались с курейскими, потом с хантайскими, как перед этим с множеством других больших и малых, названных и безымянных речек и ручьёв.

На Хантайке уже крутится первая турбина, и посёлок, пережив свой расцвет, потихоньку ветшает. Мать писала в последнем письме, что строителей осталось совсем немного, основные работы позади, теперь главные в посёлке – энергетики, для которых строят многоэтажные кирпичные дома. Водохранилище почти набралось, затопив берега, по которым когда-то он ходил с «саночками», уловистой снастью на хариуса, и в нём развелись щука и окунь, которых теперь ловят больше со льда. За хорошей рыбой, тайменем или нельмой, надо ехать на Енисей или далеко в верховья за хариусом и сигом, что отец с дядькой и делают. А там всюю злодействует рыбохрана. И снасти забирает, и штрафы выписывает аховые. А то и под суд подводит. Кончилась свобода да рыбка вкусная... Они тоже надумывают уезжать, но недалеко, на Курейке будет строиться новая гидростанция. А это рядом, там такой же коэффициент, и надбавки сохраняются. Дядю Семёна туда отправляют, так что вместе и поедут. У дядьки с Татьяной уже второй пацан родился, она с обоими дома сидит, а Семён с утра до вечера на работе, его управление единственное из строительных и осталось. Ему и десант на Курейку первым формировать, высадку организовывать, не позже следующей весны, так что главная забота здесь – все объекты сдать энергетикам.

О себе мать не писала, но можно было догадаться, что у неё тоже работы хватает, потому что в дядькином управлении она была главным бухгалтером.

Вообще много всякого произошло за это время и с его одноклассниками, и со знакомыми. Валерка Чайка переехал в Норильск, на Кайеркан, работает там на бульдозере на угольном разрезе. Хорошо зарабатывает. Танечка-Ванечка второго рожать уехала на материк, а её Григорий Григорьевич – шеф-повар в ресторане, «стал круглый, лицом блестящий и не во всякую дверь войдёт». Захар Иванович так на материк и не уехал и теперь уж никогда не уедет, останется в вечной мерзлоте – похоронили. Директор школы Капитолина Харлампиевна и математичка Софья Максимовна уехали. Первая – вроде в Киев, а вторая – в Иркутске в каком-то институте преподаёт. «Может, даже в вашем», – писала мать.

И она была права: Софья Максимовна действительно преподавала в политехе, правда, не на их факультете, а там, где математика была основным предметом, – будущим программистам. В институтских коридорах Сашка иногда видел её с Осипом Матвеевичем, но от Аркаши Распадина, с которым та поддерживала отношения, знал, что брак они официально не оформляли.

Зина Малькова-Шатохина потерялась в своём Томске. Ирка – в Питере. Алка – в Киеве. Это всё, что мать знала. А вот о Светке Пантелеевой больше, та приезжала в командировку. Она училась заочно и работала в штабе студенческих строительных отрядов. Была деловая и «очень даже интересная»...

Ну, об иркутских он лучше матери знал, потому что часто встречались в институте с Аркашей,

который вот-вот должен жениться на Рите, случайной знакомой в пору бесшабашного абитуриентства, и с Димкой Горбынем, в одном общении живут, только на разных этажах. Все изменились, взрослыми стали.

И он тоже стал другим. Но вот взрослым или нет – не уверен. Во всяком случае, жениться его не тянет. И тем более семьёй обзаводиться, как советует мать. Другое дело – влюбляться. Тут уж чувствам не прикажешь. Но вот как-то быстро все эти влюблённости проходят. Увидишь какую-нибудь, загорись, думаешь: вот она, единственная. День, два, неделя, месяц... без неё места себе не находишь. А потом вдруг то голос перестаёт нравиться, то фигура, то лицо, а то всё сразу.

...Пригревшись до полудрёмы под убаюкивающий негромкий шорох ангарской волны, вдруг увидел Сашка Любино лицо с распахнутыми глазами, её всю – в платице, невесомо опахивающем аккуратную фигуру, маленькие бёдра, грудь, чуть полноватые ноги...

И сразу сон прошёл.

Сел, потянулся, окидывая взглядом безлюдные берега и посветлевшую от прощального знойного августовского солнца тайгу, уже принявшую его за своего и более не пугающую отторгающей насупленностью. Пробежался по камешкам босиком, напевая какую-то незатейливую мелодию хорошего настроения. Бывает ведь так на свете хорошо. Без причины. Просто потому, что всё вокруг любит тебя, и ты ощущаешь родство, вечную связь и с небом, и с рекой, и с тайгой, и со

всем, что таится в ней... А ещё оттого, что каждый последующий день принесёт тебе только самое хорошее.

Он ощущал себя сильным и крепким, способным преодолеть любые преграды и жаждущим их преодолевать. От избытка энергии стал пускать плоские камушки по воде. Добился, чтобы один прошлёпал десять раз, и пошёл вдоль берега, выглядывая подходящее для хорошего удилища деревце и заодно примечая перекастистые места, где вечером надо будет наловить хариуса на ужин, а завтра уже ловить по-настоящему.

И всё получилось так, как хотел. Удилище вырезал тонкое и длинное, отчего забрасывал далеко, в самые уловистые места, вечером поймал ещё с десятков, но не очень больших харюзят, запёк их на рожне, подле костра, поужинал сытно и наутро ещё осталось, переночевал под ветвями могучей ели, решив, что располагаться на открытом месте небезопасно, тайга все-таки вокруг, мало ли кто водички попить соберётся... И спал крепко, без всяких сновидений.

С первыми лучами, отложив завтрак на потом, пошёл по берегу вниз по течению, откуда в утренней, ещё не потревоженной тишине слышался шум падающей воды, в надежде найти если не порог, то во всяком случае настоящий пережат, у которого, кроме хариуса, держится и таймень. Неплохо было бы принести на буровую тайменя, килограммов этак на десять... Хотя нет, десять его удочка явно не выдержит, а вот килограмма на три – должна.

Хариус с утра брал крупный, возле каждой быстрины он оставлял на берегу бьющуюся рыбину, всё приближаясь и приближаясь к усиливающемуся гулу, и уже не сомневаясь, что увидит порог. И, наконец, за очередным поворотом перед ним открылась выглаженная водой плита, уходящая довольно далеко в реку, с которой скатывалась вниз изумрудная, пронизанная белыми полосами, лента.

Подошёл к краю, радуясь водоворотам, рождающимся внизу, обещавшим крупную рыбу, и уже прикидывал, как быстрее сбежать по скатившимся в своё время и так и оставшимся лежать под плитой камням к ближнему из них, когда взгляд остановился на чем-то тёмном, шевелящемся у воды. Задержался и уже собирался устремиться дальше, оставляя ответ на вопрос: что это может быть, на потом, но тут солнечный луч осветил камни, и бесформенное пятно сразу приобрело чёткие очертания стоящего на береговой гальке медведя.

Сашка замер, так и не опустив поднятую ногу, не веря, но всё меньше сомневаясь, что ему не мерещится, и простоял, наверное, целую вечность, потому что за это время медведь, приподнявшись на задние лапы, неожиданно легко вспрыгнул на ближний обломок скалы, явно направляясь в его сторону. И когда мохнатая туша так же легко перепрыгнула на следующий обломок скалы, что-то, помимо сознания, приказало его ногам делать обратное движение, и, не сводя взгляда с приближающегося медведя, Саш-

ка начал отступать назад, до боли в руке сжимая тонкое удилище, воспринимаемое сейчас им как оружие, и так бесшумно уходил до тех пор, пока голова с маленькими бусинками глаз не исчезла за краем плиты. И тогда только догадался развернуться и уже пойти – побежать, как и положено, вперёд, на бегу оглядываясь через плечо, забыв про рыбин, которые ждали его на берегу. И только наступив на одну из них, вспомнил об улове.

Он вернулся к оставшемуся позади перекату, последнему перед поворотом, нашёл выловленного хариуса, насадил его на ветку, не спуская глаз со скалы, за которой начиналась плита и где остался медведь, ожидая и одновременно не желая появления зверя. И эта странная и необъяснимая раздвоенность замедляла и мысли, и движения, словно всё происходило в какой-то иной реальности, с другим, поразительно медленным ходом времени. И в этой новой реальности он, не спеша, побрёл по берегу, выискивая оставленных рыбин, неторопливо насаживая их на кулан и продолжая подолгу вглядываться в пустынный берег, словно медведь мог уподобиться снующей меж камней малюсенькой мышке и его можно было не заметить.

Потом вдруг пришла мысль, что, может быть, медведь ему привиделся, и возникло непреодолимое желание вернуться к порогу. Он бросил кулан на камни возле кострища, вытащил из ножен нож Степаныча, крепко сжимая его в руке, быстрым шагом направился обратно, но перед последним поворотом ноги отказались ему повиноваться, и

он замер, не в силах преодолеть незримую черту, не понимая, что происходит, и не веря, но не в силах сделать и шага.

Постоял и пошёл обратно, часто оглядываясь и понимая, что хозяин тайги вполне может пройти в его сторону не только по берегу, но и среди деревьев.

Эта мысль заставила его разжечь костёр, положить в огонь одним концом большой сук, похожий на дубину, который вполне мог быть факелом. Немного успокоившись, он стал размышлять, что делать дальше. Было очевидно, что оставаться на ночь рядом с таким соседом небезопасно, а значит, все планы придётся менять и не завтра с утра, как хотел, а уже сегодня возвращаться обратно. И, пожалуй, не стоит тянуть, какая уж тут рыбалка, когда зверь бродит поблизости.

Он взглянул на рыбу на кукане. Семь крупных хариусов, вполне приличный улов, исходя из обстоятельств.

Подкинув в костёр остатки заготовленных веток, отчего пламя взметнулось высоко вверх, выбрасывая искры и потрескивая, и порадовавшись звукам, которые должны были напугать зверя, если тот где-нибудь недалеко, Сашка стал быстро собирать разбросанные по берегу вещи. Запихал всё в рюкзак, сверху на робу положил кукан с рыбой, огляделся ещё раз... Отнёс к ели, под которой ночевал, и приставил к её стволу удочку, может, кому ещё пригодится, вскинул рюкзак на спину, в левой руке зажал нож, в пра-

вой – не столько горящую, сколько дымящую ветку и решительно шагнул по тропе под кроны.

Первую сотню метров он шёл медленно, часто останавливаясь, пристально вглядываясь во всё, что казалось подозрительным, прислушиваясь к каждому звуку и на каждый выкидывая вперёд, словно протыкая невидимого врага воображаемой шпагой, ветку.

Но вокруг была совсем не страшная, пронизанная солнечным светом тайга, а самым тревожным звуком были удары собственного сердца, и он пошёл быстрее. А выйдя на трассу, под металлические мачты, помнящие человеческие руки, почти успокоился и уже думал о происшедшем, как о забавном приключении, о котором интересно будет рассказывать.

...Обратная дорога показалась ему короче, незря, наверное, говорят, что так и должно быть, когда идёшь к дому. И хотя буровая была скорее временным пристанищем, чем домом, тем не менее он ощутил пьянящую радость, когда наконец увидел знакомые вагончики и услышал привычный, убаюкивающий рокот дизелей.

Сразу направился в столовую, выложил на стол перед Натальей рыбу, и та тут же принялась её чистить, обещая в первую очередь жарёхой накормить его, потому что обед уже съели, а ужин она ещё только готовит.

И он тут же, за столом, поглядывая на ловкие движения оголённых рук, колышущиеся груди, покачивающиеся бёдра такой домашней и уютной женщины, глотая слюну, стал ждать, вдруг

ощутив невыносимый голод. И не выдержал, рассказал о встрече с медведем, ожидая всего, чего угодно, но не того безразличия, которое исходило от поварихи.

Она лишь пару раз переспросила, потому что из-за шипения на сковороде не расслышала, о чём он говорил, и, наконец, поставив сковороду с золотистыми кусками рыбы перед ним, произнесла ровным голосом:

– Это он попить ходил. Сейчас на ягодах пасётся, лакомится.

– Откуда знаешь? – не поверил Сашка.

– Я ж местная, а батюшка у меня егерем был. Медведей этих нагляделась. Прежде их много было, в посёлок заходили, пока тайгу рушить не начали. В эту пору он самый безобидный.

– Может быть, – согласился Сашка, выбирая из рыбы кости. – Спорить не стану, но ведь и людоеды бывают. Шатуны.

– Бывают. Только не в эту пору.

Наталья опустила на скамейку напротив, положив подбородок на сцепленные руки, уставилась на него. Сашка чуть костью не подавился.

– Ладно, что с остальной-то рыбой делать? – спросила она, отводя взгляд.

– А чего делать? Пусть мужики едят.

– Нашим или вашей заездке оставить, в холодильник заложить?

Сашка ответил не сразу. Может, и верно подсказала, завтра его заездка приедет, будет мужикам подарок. Но, с другой стороны, перед этой заездкой неудобно, перед тем же Степанычем.

– А пусть ваши съедают. – махнул он рукой.

– Я поделю, – решила за него Наталья. – И тем, и другим по кусочку хватит.

– Как знаешь, – согласился Сашка. Поднялся из-за стола. – Спасибо, хозяйка, прямо хорошо стало, – погладил живот. – Поели, теперь бы поспать.

– Иди в мой вагончик, я теперь нескоро приду. Сейчас ужин начну готовить, потом кормить.

– Да нет, – помотал головой он. – Я на солнышке полежу.

– Как знаешь, – Наталья окинула его долгим взглядом, от которого он смущённо опустил глаза. – А то не стесняйся.

– А чего стесняться? Я и не стесняюсь, захочу, приглашением воспользуюсь.

Это Сашка выпалил напористо, давая понять, что всякое уже видал-перевидал, и выскочил за дверь...

Степаныч как раз работал, он к нему в дизельную зашёл. Нож вернул. Посидели, покурили. Сашка покричал о своих рыбацких успехах и о медведе: мужики делали подъём, дизели периодически заходились в натужном рёве. Степаныч покивал, подтвердив, что бродят тут несколько косолапых, мужики на следы натыкались, да и видели, а самому последние годы видеть не доводилось. И что сейчас зверь он мирный, сытый да довольный, сказал, словно с Натальей сговорился.

Выходило, что зря Сашка дёру дал, мог бы ещё и сегодня порыбачить.

От этой мысли рассказывать расхотелось.

Сашка прошёл по дороге от буровой, чтобы дизели еле слышно было, выбрал пригорок, пахучий от прогретых сосновых иголок, и, разостлав прихваченную робу, развалился на ней, нежась в лучах послеполуденного солнца, пролежал, то ли подрёмывая, то ли грезя, почти до темноты...

В сумерках, когда уже обе смены отужинали, Наталья накормила его макаронами по-флотски, специально оставила. С мужиками в карты перекинулся, а потом на лавочке перед вагончиком до полуночи, до новой пересменки и просидел. Так бы и заснул на лавочке, да Степаныч, вновь заступающий на смену, велел идти на его постель спать, всё одно теперь до утра пустая стоять будет. И Сашка отнекиваться не стал, прошёл в вагончик, разделся, только коснулся подушки и заснул как убитый...

К обеду прикатила его вахта, хмельная, бесшабашно весёлая, как накануне и предыдущая.

На Сашку, с радостной улыбкой встречающего их, никакого внимания никто не обращал. И только Гоша помбур, подозрительно оглядывая, поинтересовался, как отдыхалось. Сашка начал ему про свой поход рассказывать, а тут как раз Наталья вышла из вагончика, и Гоша к ней метнулся, будто дело у него какое.

Серёга Сашке конфет привёз и новости всякие. Что Любкин жених в Иркутск уехал, поступать к ним на заочное отделение собрался. Любу он не видел, та на буровой все эти дни. Даша привет передавала, она только вчера улетела на самую

дальнюю буровую. Дина с Валентином загуляли. У них, оказывается, роман уже был в институте, потом поссорились, а теперь опять сошлись, живут. Зарплату выдавали, но за него не дали, сказали, сам приедет – получит. Неплохо закрыли, с прогрессивкой.

Сашка конфеты уплетал, новости слушал и всё хотел о своём походе рассказать, но не успел – пришло время на смену заступать. Правда, потом, когда на ужин пришли и тётя Оля, их повариха, жареного хариуса разложила по мискам, все изъявили желание послушать. И про медведя поверили, и даже заспорили, опасен он бывает в эту пору или нет. Андриянов привёл пример, когда почти в это время лет двадцать назад косолапый мужика задрал. А Гоша спорить стал, дескать, если его не трогать, то он миром уйдёт, хотя ни охотником, ни рыбаком не был и в тайгу если и ходил, то не дальше, чем по надобности.

Поспорили недолго да и разбежались. Кто спать, кто на буровую.

Случай-то для всех, кроме Сашки, рядовой был.

А потом пошла обычная работа, изматывающие подъёмы и спуски, и к концу заездки рыбалка и всё, что было на берегу Ангары, казалось уж и Сашке случившимся давным-давно и даже, возможно, не с ним, и в переваливающейся машине, а потом в покачивающемся поезде Сашка привычно дремал, изживая ломкую усталость из мышц, и заснул на общежитской чистой постели быстро и сладко...

На следующий день они с Серёгой сходили в контору, он получил зарплату, неожиданно большую, поэтому накупил всякой всячины и устроил маленькую пирушку, чему несказанно был рад Баламут. Хотели посидеть по-мужски, втроём, поговорить, как водится, о работе да о женщинах, но нагрянула Маринка. Мужской разговор тут же оборвался, пьяненький Баламут стал ей нашёптывать непристойные комплименты, она отодвигалась от него и прижималась к Серёге, который на этот раз выпил больше, чем обычно, отчего сидел, глупо улыбаясь, и она наконец убедила его прогуляться. Баламут, допив остатки вина, тоже куда-то исчез, и Сашка остался один. Прибрал на столе, лёг на кровать, стал вспоминать девушек, с которыми ему было хорошо, но перед глазами почему-то всплывало лицо Любы, хотя он совсем не хотел о ней думать и поэтому даже закрыл глаза. А когда открыл, опять увидел её, сидящую перед кроватью, улыбающуюся странной, загадочной улыбкой, только вместо длинных, распущенных волос у неё была короткая, под мальчика, стрижка, отчего прежде всего бросались в глаза маленькие, аккуратные розовые мочки ушей, в которых искрились зеленоватые бусинки сережек.

Сашка снова закрыл глаза.

Открыл.

Она не исчезала.

Он хотел опять закрыть, но услышал негромкий смех, и его лба коснулась тёплая рука.

– Болеешь?

– Нет, – помотал головой он.

– А Серёжа сказал, что болеешь.

– Я по-другому болею, – вдруг брякнул он и торопливо пояснил: – Свеч натаскался. – Спросил, разглядывая её лицо: – А что с твоими волосами?

Поднял руку, коснулся головы, ощущая пальцами колючесть коротко стриженных волос. Она подалась к нему, доверчиво прижалась щекой к его ладони, и он замер, ощутив прилив нежности.

– Тебе же нравится такая причёска?

– Но... мне нравились твои волосы...

Она стала смотреть ему в глаза, и он шёпотом, приподнимаясь к ней и одновременно наклоняя её к себе, догадливо произнёс: – Я дурак... – и, коснувшись её ждущих губ, долго не отпускал её.

Наконец, она отстранилась, встала.

– Пойдём, погуляем?

– Пошли, – охотно согласился он, привыкая к ней такой – новой, неожиданной, манящей и пугающей одновременно.

Они вышли на улицу, уже сумеречную, безлюдную, пошли в сторону клуба. Там возле крыльца курили подростки, и Люба велела брату, который тоже был здесь, долго не гулять, – отец сегодня не в настроении. Тот огрызнулся, мол, сама пусть не загуливает со всякими студентами, и ловко увернулся из-под её маленькой ладони.

Они гуляли по тёмным улицам, держась за руки, словно боясь ненароком потерять одного, часто останавливались, чтобы нацеловаться, ощутить тела друг друга, говорили обо всём,

что приходило в голову, не замечая времени и вообще ничего и никого вокруг. Им было легко, хорошо, и Сашке всё больше и больше нравилась эта нежная, не требующая никаких клятв и обещаний девушка. Возле леспромхозовских домов они встретили Серёгу и Марину, маршрут здесь у всех влюблённых был один. Посидели на лавочке возле какого-то дома, послушали лай собак, перекатывающийся с одного конца посёлка на другой, они с Серёгой покурили, а Марина с Любой о чём-то пошептались. Потом опять разошлись и встретились уже глубокой ночью у дома подружек. И оттуда уже вдвоём направились к себе...

На этот раз их поджидали недалеко от общежития. Четверо незнакомых парней и Бекас маячили недалеко от горящего на столбе возле крыльца фонаря, стараясь не попадать в светлое пятно. Серёга первым понял, что драки не избежать, и сам рванул к Бекасу, но на его пути встал здоровый, на голову выше, амбал. На Сашку прыгнули двое коренастых увальней, и неожиданно для себя он умудрился увернуться от обоих и даже одного зацепить за руку, крутануть на месте, отбросить в сторону, как отбрасывал свечи. Тот улетел куда-то в темноту и там глухо ухнул и застонал. Второй от неожиданности остановился. Сашка его достал кулаком в белое пятно лица, и тот упал.

Серёга амбала уложил, сцепился со вторым, не таким здоровым, но, похоже, ловким, за грудки, они топтались, молча кряхтя и пытаясь свалить друг друга, а Бекас прыгал вправо-влево, словно что-то выглядывая, и Сашка не сразу догадался,

почему тот так делает, и только когда блеснуло в его руке, понял...

– Серёга, нож!

Крикнул, рванул вперёд, на помощь, но тот, которому досталось кулаком, уже поднялся, навалился сзади, и Сашка закрутился, сбрасывая его с себя и одновременно не спуская глаз с Бекаса, который всё не мог выбрать момент. И тут Серёга сумел свалить противника, шагнул к Бекасу, но тот сгинул в темноте, а на Серёгу сзади надвигался поднявшийся амбал. Сашка хотел его предупредить об этом, но тут что-то обрушилось на голову так, что в глазах стало светло, как от сварки, неприятно загудело, и с невысказанным удивлением он стал падать лицом вниз...

Потом он узнал, что дрын, которым его ударил сбитый им первый нападавший, перехватил Серёга и этим дрыном отогнал от него всех, а тут на крики из общежития выскочил Баламут с собутельниками, и они ещё погоняли тех по улицам, азартно улюлюкая и праведно матерясь. Они же и принесли потом пришедшего в себя, но не совсем хорошо соображавшего Сашку в общежитие, и Баламут обложил ему голову мокрыми тряпками.

Как в полусне он видел Серёгу, всё порывающегося идти искать Бекаса; Баламута, наливающего в стакан и заставляющего Серёгу выпить. И тот пил, хватал со стола нож, рвался к выходу, удерживаемый мужиками, снова выпивал и, наконец, не раздеваясь, упал на свою кровать и уснул. А Сашка всё не мог заснуть. От боли выворачивало глаза, затылок жгло, в комнате всёплы-

ло и кружилось, хотелось пить, но почти трезвый Баламут пить не советовал, обещая, что к утру будет легче или совсем станет худо.

Он забылся только под утро, когда уже на улице стало светлеть, а очнувшись в залитой солнцем комнате и, уже не удивляясь, увидел сидящую на табуретке рядом с кроватью Любу. Она поймала его взгляд, протянула руку, перевернула прохладную тряпку на его лбу, тихо спросила:

– Как ты? Голова кружится? Тошнит?

Он прислушался к себе. В голове гудело, тело ныло, но стены и потолок были на своих местах, и Люба была красивой и желанной.

Повернул голову. Посмотрел на Серёгину постель, она была пуста.

– Где..?

Хотел продолжить, уточнить, что имеет в виду Серёгу, но губы не очень слушались, и он показал глазами в сторону кровати.

– Марина его к участковому повела.

– Зачем?

– Боится за него.

Он подумал, осмысливая многоплановость этой фразы и привыкая к тупой боли. Потом неуверенным тоном высказал предположение:

– Похоже, у них всё серьёзно.

– Маринка собирается ехать в Иркутск. Серёжа уже сделал ей предложение.

– Да ты что?

Сашка даже приподнялся, так его поразила эта новость, попытался поймать падающее со лба полотенце, от чего боль пронзила спину, и он со стоном замер.

– Лежи, – вскочила Люба. – Тебе нельзя вставать. Голова кружится?

– Нет... – выдохнул он. – А что?

– Это хорошо, – произнесла она и, помолчав, пояснила: – Значит, сотрясения нет. Но всё равно надо отлёживаться... Они от участкового в столовую зайдут, что-нибудь пообедать принесут. Ты ничего не хочешь?

– Хочу, – негромко произнёс он.

– Что?

– Наклонись.

Она нагнулась к нему. Сашка скользнул губами по её губам. Она несильно упёрлась ладонями ему в грудь, отстранилась, прошептала:

– Тебе сейчас волноваться нельзя.

– А я не волнуюсь, – отозвался он. – И даже наоборот.

– Нет, – Люба оставалась непреклонной. – Сегодня мы целоваться не будем.

А будем ли завтра, вдруг подумал он, совсем некстати вспомнив Вову, и, морщась не столько от боли, сколько от этой мысли, откинулся на подушку.

– Тебе плохо? – встревожилась она.

– Мне с тобой всегда хорошо.

Эта фраза вылетела сама собой, и он, поймав пронзительный Любин взгляд, запоздало подумал, что не стоило такого говорить, ведь он пока сам ни в чём не разобрался. С одной стороны, ему приятно видеть её, гулять с ней, тем более целоваться, а то, что она остригла свои длинные волосы только потому, что он брякнул, что любит девушек с короткими стрижками, совсем ошело-

мило. Но всё же он относился к ней, как к Ирке... Вот Серёга только на Марину и смотрит, никого больше не замечает, а ему и Даша чем-то нравится. Даже Наталья, хотя, конечно, жениться бы на ней он никогда не стал.

В конце коридора хлопнула дверь, громко что-то обсуждая, в комнату вошла Марина, и за ней Серёга с авоськой, заполненной свёртками. Похоже, на этот раз он отделался пустяшными царапинами на носу, которые больше выглядели, как след ногтей любимой женщины, чем жестокой драки.

– Ну, что наш болезный? – жизнерадостно пропела Марина, привычно опускаясь на Серёгину кровать и скользнув по Сашке равнодушным взглядом зелёных, вечно смеющихся глаз. И тут же поднялась, заторопилась к выкладывающему на стол пакеты Серёге. – Серёженька, я сама.

Начала разворачивать, выставляя тарелки и торжественно, словно фокусник, открывая их, чтобы показать большие куски мяса, плавающие в коричневой подливке, и аккуратные квадратики фаршированных невесть чем блинов, и даже прожаренные в сметане грибы.

Сашка даже слюну проглотил, оказывается, аппетит у него не пропал.

– Закуска что надо, – пошутил.

Но его не поняли.

– Тебе нельзя, – сказала Люба.

– Спиртное запрещено, – строго произнесла Марина. – Врачиха сказала – покой и сон.

– А ты откуда знаешь?

– Мы заходили в амбулаторию, – пояснил Серёга.

– И к участковому? – вопрошающе подсказал Сашка.

– А ты знаешь, что дрались мы с тобой не с Бекасом и его дружками, – загадочно произнёс тот, присаживаясь на кровать напротив.

– Как это?

– А вот так. Бекаса сейчас в посёлке нет, он, оказывается, в Братске уже несколько дней в отгуле. А остальные четверо вообще непонятно откуда возникли, таких здесь отродясь не было.

– Из табакерки выскочили, – буркнул Сашка, некстати вспомнив русскую народную сказку. – А может, так и лучше, а то скажут, мол, сами не справились, сдрейфили...

– Ты это, товарищ Саша, брось, – Марина протянула ему тарелку, на которой было наложено всего понемногу. – Я не хочу, чтобы моего жениха убили.

– Марина... – недовольно произнёс Серёга.

– А что? Ты сам говорил, Бекас ножом размахивал.

– Да мне это показалось. Саш, подтверди?

– А чего подтверждать? Если я правильно понял, не было никакого Бекаса, а значит, естественно, ножа тоже не могло в этом случае быть...

– Наверное, приехал вечерним поездом, а утром уехал, – предположила Люба.

– А остальные четверо? Участковый таких в посёлке не видел. И у него в картотеке похожих нет, – сказал Серёга. – Не привёз же он их с собой.

– Привёз, – уверенно сказала Марина. – Он мог запросто за пару бутылей привезти.

– Чем дальше в лес... – Сашка взглянул на тарелку. – Я один есть не стану, давайте вместе.

– Да, Сережёнка, накладывай себе. А мы побужим. – Марина подхватила Любу за руку, потянула за собой. От двери, повернувшись, улыбаясь глазами, пообещала Серёге: – Я вечером зайду.

Он кивнул, помахал ей рукой и стал щедро накладывать себе на тарелку, похоже, тоже проголодался.

...К вечеру стало полегче, а утром Сашка почувствовал себя совсем неплохо, только немного побаливала голова да ныли шишки и ссадины. Обедать он пошёл с Серёгой в столовую, по пути всматриваясь в редких прохожих, да и в столовой обращал внимание на каждого, вновь входящего, но знакомых физиономий не видел.

Вечером они пошли вчетвером гулять, на этот раз далеко не разбегаясь, целовались и шептались, сидя на соседних лавочках. А на следующий день уже разошлись, и, как Сашка понял, Серёга с Мариной ушли на квартиру какой-то Любиной подруги, уехавшей в командировку.

В тот вечер ни о чём серьёзном они с Любой не говорили. Болтали обо всём, что приходило в голову, нацеловались до боли в губах и расстались пораньше, потому что на следующий день и ему, и ей нужно было выезжать на буровые. Точнее, ему выезжать, а ей вылетать на вертолёте на самую дальнюю.

...На этот раз заездка для Сашки оказалась длинной. Заболел сменный верховой, а замену ему на базе не нашли, и Пташка упрямился Сашку остаться, пообещав и премию выдать, и, естественно, отгулов выписать с лихвой. И хотя не хотелось ему, скучал по Любе, да и подустал от подъёмов-спусков, отказаться не смог. Только Серёге заказал шоколада привезти плиток десять, чтобы силы восстановить.

Впрочем, шоколад лишним оказался. Наталья его наособицу кормила, и уж точно по ночам ждала, да не до неё было, после смены только и хотелось, что помыться и спать, вот и все мечты.

Отбарабанил за болезного, а потом ещё и в свою заездку заступил. Хорошо, что надумали менять промывочную жидкость перед новым сложным пластом, мешки с реагентами таскать оказалось всё же легче, чем свечи.

Со слов Серёги он знал, что Люба его ждала, и понимал: на этот раз при встрече придётся всё расставлять по своим местам, потому что Вова уже должен был приехать в любом случае, поступил или нет.

Но по возвращении первым делом уговорил Серёгу сходить в баню, где смыл почти двухнедельную грязь, промывочный раствор, от специфического запаха которого никак не мог избавиться, да и накопившуюся ломоту в мышцах разогнал злым веником, напарясь до головокружения и той лёгкости, которая присуща, наверное, только душе.

После баньки посидели в столовой, наслаждаясь разнообразием набранных блюд и потягивая «Жигулёвское». Отяжелевшие, а оттого добрые и полусонные, вернувшись в общежитие, завалились на кровати и проспали до сумерек.

Вечером Серёгу увела Марина, которая теперь вся была в заботах приближающегося отъезда и свадьбы, о которой уже знал весь посёлок.

Пока Сашка был на буровой, Сергей с Бекасом выяснили отношения. Бекас сам подошёл к ним с Мариной, сказал, что слышал, будто бы на студентов тут с ножом нападали неизвестные, поклялся, что это был не он, свидетели есть, в Братске в ресторане гудел в тот вечер, и не очень радостно поздравил Марину с предстоящей свадьбой, попросив забрать у участкового заявление.

– И ты поверил? – удивился Сашка. – Да чушь это, мы же с тобой не слепые.

– Ладно, забудь, разошлись мы с ним, – отмахнулся Серёга.

Они ушли, а Сашка остался, не в силах разобраться, хочется ему видеть Любу или нет. Он был уверен только в том, что совсем не хочет встречаться с Вовой, который, как сказала Марина, уже вернулся после очередной безуспешной попытки поступить в институт. И не ждал Любу. Но она вошла, в плаще, перетянутом поясом, подчёркивающим её талию, остановилась у стены, не проходя, не раздеваясь, ничего не говоря, таинственно улыбаясь, выражая всем своим видом терпеливое ожидание, и растерянно-удивлённый Сашка стал торопливо натягивать свитер; вече-

ра уже стали по-осеннему прохладными, задавая какие-то пустяковые вопросы, типа: когда ты приехала? где ты была сегодня? почему улыбаешься? куда мы пойдём? Но Люба в ответ лишь молча мотала аккуратной головкой с маленькими бусинками дымчатых сережёк в мочках ушей, которые почему-то всё время бросались в глаза.

На улице она подхватила его под руку, куда-то повела в темноту, и довольно промозглый ветер, явно нагоняющий долгий осенний дождь, заставлял прижиматься к ней, одновременно отдавая своё и пользуясь её теплом. Они зашли невесть куда, на какую-то окраинную улицу, на которой никогда Сашка не был, и вошли во двор небольшого домика с тёмными окнами.

Люба отомкнула большой замок, положила его на перила ветхого крыльца и опять, не отпуская его руки, шагнула в тёплую, пахнущую старым деревом, темноту. Щёлкнул выключатель, лампочка в жёлтом абажуре под потолком осветила чистенькую комнату с белыми занавесками на маленьких окнах, круглым столом, накрытым белой скатертью, и большой железной кроватью, застеленной опять же белым покрывалом. Она скинула плащ, оставшись в платье с белым воротничком, и, наконец, произнесла первое слово за весь вечер:

– Раздевайся.

– Ну, слава богу! – выдохнул он, снимая куртку и вешая её рядом с её плащом на деревянную вешалку, прибитую возле двери. – А я уж испугался, думал, ты говорить разучилась.

Она не ответила, исчезла за тяжёлой занавеской, отделяющей часть комнаты, за которой виднелась белая печь, и вернулась с бутылкой вина, двумя тонкостенными, отдающими таинственной синевой бокалами.

– Садись, не стой.

– А может, тебе помочь? – неуверенно предложил он.

– Не надо, – раздался её голос из-за занавески, и она вернулась с тарелочками, на которых были кружочком разложены сыр и колбаса.

– Сегодня разве праздник? – удивился он.

Она опять не ответила, вновь исчезла и вернулась с большим блюдом, на котором аппетитной горкой высилась румяная, источающая ароматный запах курица.

– Праздник, – Люба, прищурившись, взглянула на него, словно ожидая оценки. Присела напротив. – Всё?

– Хлеб, – напомнил он.

– Ах да...

Она принесла нарезанный тонкими ломтиками хлеб. Весело поинтересовалась:

– А почему в бокалах пусто?

Он засуетился, попытался выбить пробку, как когда-то видел в кино, ударом кулака по доньшкку, она внимательно наблюдала за ним, словно это было увлекательным зрелищем, и, наконец, всё из-за той же занавески принесла штопор, и он вытащил пробку, налил в бокалы густого тёмно-красного вина.

Поднял свой.

– По какому поводу празднуем?

Она взяла свой бокал обеими руками, сжала его в маленьких узких ладонях, поглаживая пальцами стекло, сказала:

– Возле нашего дома меня ждёт Вова. Он очень переживает, потому что я пообещала сегодня ответить ему, пойду за него замуж или нет. А это – дом моей подруги. Она в командировке, поэтому, кроме нас, здесь никого нет. А ещё, за окном начинается осень. Я люблю осень, это и печальное, и одновременно светлое и чистое время года. Давай выпьем за осень.

– Хорошо, – неуверенно согласился он и коснулся своим бокалом её бокала.

Стекло еле слышно звякнуло, словно чего-то опасаясь или ожидая, и он подумал, что так оно выразило его ощущение.

Люба отпила глоток, он выпил всё вино, потянулся за куриной ножкой, понимая, что делает что-то не так, но абсолютно не зная, что нужно делать, стал есть.

Мясо оказалось удивительно вкусным, и он спросил:

– Такая вкуснятина. Кто готовил, ты?

Она кивнула.

– А почему не ешь?

– Я не хочу.

Люба отпила вина, поставила бокал на белую скатерть, поворачивая его, стала пристально разглядывать, словно выискивая только одной ей ведомый изъян.

– О чём ты думаешь? – спросил он.

- А ты?
- Я первый спросил.
- Я тебе нравлюсь?
- Он отложил обглоданную кость.
- Зачем ты спрашиваешь?
- И всё-таки?
- Это платье тебе очень идёт.

Она поднялась, прошла в центр комнаты, остановилась перед шкафом, в дверце которого было зеркало, приподняла пальчиками края платья, внимательно изучая своё отражение, и, повернувшись, неожиданно спросила:

- А без платья я тебе нравлюсь?
- А без платья не видел...
- Хочешь, разденусь?

Она поймала его взгляд, и он первым отвёл свой, неуверенно кивнув.

Люба помедлила и вдруг быстро сняла платье, оставшись в розовых трусиках и белом лифчике, подчёркивающих привлекательные изгибы её тела.

Он шагнул к ней, слыша, как грохочет его сердце, положил руки на тёплые, чуть подрагивающие плечи, впился в ожидающие губы, шалея от пьянящих больше, чем вино, запаха и доступности её тела, и прижимая его так, словно надеясь стать единым.

Упираясь горячими ладонями ему в грудь, она нашла его взгляд, замерла, пытаясь что-то прочесть в его глазах, и негромко печально произнесла:

- Ты меня не любишь...

Он помотал головой, она повторила, но уже с необъяснимым спокойствием, словно это её не касалось.

- Не любишь. Но если хочешь, можешь ...

Он сел рядом, успокаиваясь, приводя в порядок мысли, продолжая смотреть на её обнажённую грудь, поглаживая прикрытые узкими полосками ткани бёдра, любуясь доступным ему телом, воображая возможные ласки и удовлетворение страсти... И словно не он, а кто-то другой произнёс его голосом совершенно не то, что он думал:

- Ты должна сегодня Вове сказать «да» или «нет». И я должен тебе сказать или «да», или «нет». Но я не знаю.

По её глазам он понял: она ждала других слов.

Встал, застегнул рубашку, прошёл к столу, налил в бокал вина, выпил залпом. Морщась от приторного вкуса, обернулся.

Она уже надевала платье.

- Ты обиделась?
- За что? – весело отозвалась она.
- Что я не могу тебе ответить.

Она подошла к нему, глядя в глаза, сказала:

- Я тоже не могу ответить Вове. Но могу тебе.

Он отвёл взгляд.

Она села за стол.

- Ты не поел.
- Спасибо, я не хочу.
- Допей вино.
- Не хочу.

Он попытался её поцеловать, она увернулась:

– Не надо. Проводи меня.

Стала одеваться, стараясь не смотреть в его сторону, и он торопливо накинул куртку, вышел следом за ней.

На улице моросил неторопливый, пришедший явно надолго дождь.

Люба повесила замок, повернула ключ, вышла на улицу. Быстро пошла, не ожидая его и не оглядываясь. Он заторопился следом, жалея её сжавшуюся, беззащитную фигуру, догнал, попытался взять за руку, но она отдёргнулась, спрятала её в карман плаща.

– Не надо. Просто иди рядом.

– Я никогда не думал, что у нас так серьёзно, – брякнул он. – Мне с тобой приятно быть вместе. Но я ещё не собираюсь жениться.

– Ничего не говори, я прошу.

Она остановилась, повернулась к нему. Её лицо было мокрым от дождя.

– Ничего не говори... – повторила она. – Вообще не говори.

Он с трудом успевал за ней, не обращая внимания на лужи, грязь, лай собак, сопровождающий их, не в силах избавиться от ощущения, что он сделал что-то не так. Наконец впереди в светлом пятне от висящего недалеко фонаря проявился её дом и большая фигура, застывшая у входа.

– Это Вова, – сказала она. – Теперь уходи.

– Подожди, давай поговорим...

– Уходи.

Она почти побежала от него. На мгновение задержалась возле рванувшегося навстречу Вовы и тут же исчезла в подъезде.

Сашка постоял, стёр ладонью с лица дождь, неторопливо подошёл к нервно кутившему Вова. Стал рядом, стряхнул с пальцев дождь, достал сигареты. Прикурил. Выступ крыши над головой закрывал их от дождя, стена защищала от прохладного ветра.

Спросил:

– Что она тебе сказала?

– Неважно, – отозвался Вова. И после паузы добавил: – Ты не любишь её.

Сашка промолчал.

– Бекас действительно хотел твоего друга подрезать, – прервал молчание Вова. – А пацанов он из Братска привёз. Они ночным уехали, после драки.

Сашка выбросил сигарету.

– Спасибо, что сказал. Хотя непонятно...

– Я не хочу, чтобы Люба вышла за меня только из жалости, – сказал Вова. – Поэтому и не изуродовал тебя. И Бекаса не одобряю.

– Ну, насчёт изуродовал, это ещё бабушка надвое... – начал было Сашка, но, взглянув на распрямившегося, возвышающегося над ним Вову, примирительно закончил: – Хотя ты прав, хуже всего, когда ты любишь, а тебя – нет. По себе знаю.

И решительно шагнул в пелену набирающего силу дождя. Обернувшись, посоветовал:

– Жди. И я буду ждать...

Что он имел в виду, сам до конца не понял.
...Он больше не видел Любу. Получалось так, что заездки у них не совпадали и отдыхали в разные дни. Во всяком случае, так говорила Марина, хотя он слышал, что Люба сама напросилась подменять всех отпускников, набирая отгулы, и не приезжала в посёлок целый месяц. Как раз через месяц закончилась практика, и уже по улежавшемуся снежку они шумной, весёлой компанией с Серёгой, Диной, Дашей, Савелием и Валентином садились в поезд в прекрасном настроении, с приличными, соответственно заработку, возможностями. Провожала их Марина и, хмельной на этот раз по законному поводу – проводины всё-таки, Баламут. Да ещё какая-то совсем юная девчушка, стоящая в стороне с Савелием.

Сашка пытался ухаживать за Дашей, которую тоже не видел почти месяц, но делал это не очень азартно, поэтому и отклика не получал.

Стоя на деревянном перроне, принимая самое активное участие в нелогичном предотъездном разговоре, поймал себя на том, что нет-нет да и поглядывает в сторону улицы, по которой могла прийти Люба. Но она так и не пришла.

В Иркутском аэропорту он почти поддался уговорам москвичей отгулять отпуск в столице, но в последнюю минуту соблазнился приглашением Аэрофлота – в связи с наличием свободных мест и исходя из того, что он человек свободный и денежный, вылетел во Владивосток.

Неделю путешествовал по осеннему золотистому Приморью, легко знакомясь и так же легко расставаясь, а по возвращении в Иркутск ещё пару недель догуливал заработанное честным трудом.

Правда, на подарок молодожёнам оставил, и в декабре на свадьбе рядом с Мариной увидел Любу. По левую руку от неё чинно сидел неузнаваемый, в чёрном костюме и галстук в горошек, Вова. Его лицо дышало уверенностью и спокойствием. Люба лишь скользнула по Сашке взглядом, когда он преподносил молодым подарок, и отвернулась, что-то нашёптывая наклонившемуся Вове. На ней было свободное коричневое, не очень нарядное платье, и всё-таки он заметил, что талия у неё явно не та, что была прежде.

Он чуть-чуть обиделся на такое невнимание к себе, но за столом его ждала Станислава, его новое увлечение – кудрявое, говорливое, и оно отогнало горечь неясной неудовлетворённости.

Но всё-таки, глядя на откровенно счастливых и гордых новобрачных, он легко представлял на их месте себя и Любу и совсем не видел рядом с собой подкладывающую ему на тарелку всяких вкусностей Стасю...

Невидимые люди

Крепко удерживая норовивших вырваться из рук сыновей-погодков пяти и шести лет, Наталья обогнула угол пятиэтажки и направилась к своему подъезду. Заметив сидевшего напротив детской песочницы пожилого соседа, проживавшего этажом ниже, молодая женщина приветственно кивнула, поинтересовавшись, скорее из вежливости, чем из любопытства:

– Скучаете, Александр Иванович?

Положив подбородок на ручку костыля, старик, одетый в старомодное драповое пальто, провожал взглядом последние золотисто-ржавые листья, срываемые ветерком с деревьев. Увидев улыбающуюся соседку, он приветливо махнул ей рукой, жестом приглашая присоединиться.

Осенняя сырость разогнала по домам всех старух, обычно собиравшихся на этой лавочке, чтобы посудачить о новом росте цен на продукты, пере-



Валерий
БРОДОВСКИЙ

Проза



мыть косточки председателю местного ЖЭУ или обсудить мировую политику, успевая при этом раздавать в спину проходившим мимо соседям не всегда лестные характеристики. Опустел двор и от шумной детворы с их вечно окрикивающими мамашами. Одна только Наталья все никак не могла сладить с чадами, упорно не желавшими возвращаться в бетонные клетки квартиры.

– Что, не хотят мальцы домой идти? – оживился старик, обрадовавшись согласию молодой соседки посидеть с ним недолго.

– Ни в какую!

– Ну, пусть побудут еще немного на воздухе! – одобрительно закивал он головой. – Таким живчикам подолгу находиться в квартирном застенке – одна беда. Еще успеют насидеться, когда в школу пойдут.

– Да сколько же можно гулять? – присев на край лавки, устало проговорила Наталья, кутаясь в болоньевую курточку. Отпущенные на волю, оба пострела тут же бросились к песочнице. – Дай волю, так они домой только ночевать будут приходиться. Даже голод их не загонит.

– Это хорошо! – задумчиво проговорил старик.

– Чего ж хорошего? – Женщина удивленно взглянула на соседа. – Вон, извозились в земле, точно поросята. Теперь стирки прибавится.

– Хорошо, очень хорошо! – продолжал настаивать Александр Иванович, чему-то улыбаясь. – Это счастье, когда есть за кем постирать.

– Ага, стирать-то вручную придется! – недовольно всплеснула руками Наталья. – Машинка давно испортилась. Муж говорит: восстановление не подлежит. А на новую еще не накопили. Дорого нынче все!

– И все же, это счастье, Наташа. А машинка что, машинка у меня есть. Я ею пользуюсь нечасто, так что неси все, что необходимо постирать, – предложил сосед...

Вечером в его квартиру позвонили. Немало удивившись – в последнее время редко кто заглядывал, – Александр Иванович пошел открывать дверь. На площадке, с большим пакетом вещей, стояла Наталья.

– Вот, решила воспользоваться вашим предложением, – смущенно произнесла женщина. – Если, конечно, не передумали!

– Чудесно, Наташенька! – обрадовался старик, широким жестом радушного хозяина приглашая пройти внутрь. – Что же ты мальчишек с собой не привела-то? Им бы у меня понравилось!

– Это лишнее, – решительно заявила молодая мать. – Они вам тут быстро устроят конец света. – Войдя внутрь, Наталья протянула хозяину квартиры небольшой пакет: – Пирожки любите? Только что испекла. Угощайтесь, пока горячие.

– Пирожки? – хозяин квартиры расплылся в улыбке. – Уважаю! Очень даже! Особенно с капустой.

– Значит, угадала.

Показав соседке ванную комнатку, где стояла стиральная машинка, Александр Иванович отправился на кухню.

– Предупреждаю: пирожки отведаем вместе! – бросил он громко по пути. – Вдруг ты отравить меня надумала! Ну, чтобы стиралку мою, к примеру, прибрать к рукам. Знаешь, сейчас ведь стариков и не за такие ценности убивают. Вон, какие страсти по телевизору показывают, с ума можно сойти.

– Скажете тоже, – засмеялась Наталья. И таким открытым и радостным был ее смех, что старик и сам расхохотался собственной шутке. – Вы бы меньше телевизор смотрели, Александр Иванович.

– А что еще остается делать людям невидимым? Книжки да телевизор.

– В каком смысле – невидимым? – не поняла Наталья.

– Я так стариков называю, кто в силу различных обстоятельств редко появляется на людях. Ты знаешь, сколько одиноких в этом мире? – донеслось с кухни. – Сколько позабытых и брошенных своими детьми, коллегами, приятелями? О, времена, о нравы!..

Слова пожилого человека резанули слух Натальи, напомнив о матери. Тоска по родному человеку охватила на мгновение грудь молодой женщины.

Достав небольшую баночку с вареньем, Александр Иванович поставил ее на столик.

– Признаюсь, испытываю определенную слабость к сладкому. Это меня одна моя старая знакомая балует. Снабжает разными вареньями да повидлами. Так что, пока вещи будут стираться, предлагаю почаевничать.

Заложив вещи в стиральную машинку, Наталья прошла на кухню.

– А у вас красиво! – с интересом осматривая небольшое помещение, произнесла она. – И... чисто! Это ваша знакомая старается?

Она не раз видела, как к ее одинокому соседу навещалась немолодая особа. Старухи, судачившие во дворе, давно записали ее в любовницы.

Уловив в словах Натальи желание прикоснуться к его личному, Александр Иванович, доставая из шкафчика чашки из тонкого белоснежного фарфора, понимающе улыбнулся:

– Нет. Я приучен сам за порядком следить. Привык, знаешь, за долгие годы одиночества. А с Антониной Сергеевной мы, считай, уже больше полувека дружим! Еще в институте познакомились. Тогда же она и замуж вышла за моего друга. С тех пор так втроем и дружили, пока несколько лет назад Владика не схоронили. Необыкновенным человеком был мой дружок! Настоящий герой! Его когда-то в горах Памира покалечило. Попал под камнепад. Долго болел, но потом вернулся к горам. Не мог без них. Там и нашел свою погибель, провалившись в расщелину.

Взглянув на погрузившегося в воспоминания старика, Наталья вернула его к действительности:

– Вы так тепло рассказываете о своем друге! В наше время редко кто способен сохранить дружбу на всю жизнь.

– Полагаешь? Возможно, ты права. Когда Антонина осталась одна, я ее не бросил. Она славная, чудесная женщина! – Глаза старика снова засияли. – Вся в семье! В детях, внуках. Когда бываю у них – отдыхаю душой. В какой-то мере они мне собственную семью заменили.

Электрический чайник зазвенел хрустальным колокольчиком, оповещая о вскипевшей воде. Переложив пирожки с чайными принадлежностями на большой поднос с диковинным орнаментом, хозяин квартиры предложил перенести чаепитие в залу.

Необычное убранство большой комнаты, куда они перешли, захватило Наталью.

– Как у вас красиво! – восхитилась она, рассматривая на расставленных вдоль двух стен стеллажах с книгами множество редких кристаллов, таинственно замерцавших при включенном свете. Другие стены были увешаны картинами с видами гор. Внимание привлек и большой макет парусника под названием «Санта Мария». – Александр Иванович, вы, случайно, не моряк в прошлом? – повернулась она к нему.

– Не угадала! – засмеялся владелец макета. – Парусник – это для души. На таком Колумб открыл Америку. Я с детства мечтал о путешествиях в дальние страны, но не случилось. В какой-то степени мы с Владиком и Тоней тоже первооткрыватели. Только не затерянных земель, а богатств нашей земли. Я – геолог.

– Как же я сразу не догадалась, увидев эти камни на полках?! – округлила глаза Наталья. –

В детстве читала книгу о геологах. Очень понравилась. Горы, палатки, ночные костры – романтика! – Испросив разрешения, она взяла в руки один из кристаллов.

Старик улыбнулся:

– Да, в те годы нас называли романтиками дальних дорог. Стихи посвящали! – вскинул он брови и вдруг стал читать из Асадова:

*– Палатка геологов – сесть и пригнуться,
Приборы, спецовка – сплошной уют.*

Скажи о романтике им – усмехнутся:

– Какая уж, к черту, романтика тут?!

Лицо его снова расплылось в той волнующей душу улыбке, какую сохраняет память о годах прошедших – светлых и радостных. – Прибавь сюда еще комаров-кровососов, мошкару, забивающую рот и нос, лезущих в уши жучков, холод по ночам и диких зверей, – добавил он, улыбаясь. – Вот теперь почти полная картина.

Наталья засмеялась:

– Обратная сторона медали?

На одной из полок в узких багетных рамках стояли несколько черно-белых снимков, на которых фотограф запечатлел молодую красивую женщину с ребенком на руках и мужчину.

– Александр Иванович, это ваши близкие? – полюбопытствовала Наталья, без труда узнав в нем соседа. – Я никогда их не видела!

Улыбка сошла с лица старика. Предложив занять место за журнальным столиком, он придвинул к ней чашку с чаем и неохотно проговорил:

– Жена с дочерью. К сожалению, я давно с ними разлучен. Видимо, так судьбе было угодно распорядиться.

– Вы в разводе? – разочарованно протянула соседка, ожидая услышать историю о несчастной любви.

В действительности, судьба пожилого человека ее не особо интересовала. Мало ли на земле людей, кто в силу различных обстоятельств разобщен с родными. Одиноких в последнее время становилось все больше.

– Скорее, брошен! – выдавил старик, неумело скрывая за слабой улыбкой горечь обиды. Отпив горячего, с ароматом горных трав, напиток, он повернулся к полке с фотографиями, долго разглядывал одну из них. – Анну я встретил на Урале, в одном глухом, далеком от цивилизации поселении, – начал хозяин квартиры свой рассказ. – Нас тогда, после окончания института, отправили в царство Хозяйки медной горы. Помнишь, как у Бажова? В те годы было почетно стать геологом. Мы были молоды. Энергии – хоть горы вороти да моря осушай! А сколько различных открытий было совершено! Тогда все мечтали сделать нашу страну самой богатой в мире. Своим же личным главным богатством я считал Анну. В тамошнем совхозе она трудилась помощником повара при бригаде лесорубов. Очень красивая была! Мужики вокруг вьюнами вились. Анна хоть и молодая была, но с характером. Цену себе знала. Конечно, польстило, когда такая красавица обратила на меня внимание. – Старик открыл баночку, разло-

жил по хрустальным розеткам варенье. – В общем, стали мы с ней встречаться. Как-то Анна обмолвилась, что копит деньги, чтобы уехать в большой город и там выучиться на педагога. – Возвращаясь мыслями в прошлое, Александр Иванович все больше сутулился, словно прожитые годы неимоверным грузом давили на него. – Я ее страстно полюбил! Предложил поехать со мной в качестве жены. Обещал, что помогу с учебой, и был счастлив, когда она согласилась. Правда, здесь, в городе, об учебе речь больше не велась. Да и какая учеба, когда вскоре у нас ребенок родился?! Дочка! Славная! Я продолжал ездить в командировки, которые часто растягивались на долгие месяцы. Анна скучала. Однажды заявила о желании устроиться на работу. Так, мол, ей некогда будет грустить. Подыскали место. Дочку определили в садик, и я снова уехал в командировку. В этот раз – на Памир. Работа у меня такая была, что поделаешь. – Отпив чаю, он продолжил: – В очередной раз возвращаясь домой, а там ни жены, ни дочери. Только короткое письмо: «Извини... так получилось... встретила другого... не ищи...» В общем, что-то в этом духе. Сухо, без соплей. Анна, вообще, не терпела телячьих нежностей. Сопли были у меня. Я ведь их с дочкой очень любил. Машеньке тогда четыре годика исполнилось. Конечно, я тут же кинулся разыскивать семью. – Александр Иванович тяжело вздохнул. – В парикмахерской, где Анна недолго успела поработать, показалось, что ее бывшие коллеги чего-то не договаривают. То ли из сострадания ко мне,

то ли из женской солидарности. В общем, с перерывами на командировки мои поиски затянулись на годы. Удивительно, но в Советском Союзе, где работа правоохранительных органов была четко отлажена, милиция не смогла найти моих близких. Я искал повсюду, куда, по моему разумению, Анна могла уехать. Несколько раз наведывался на ее родину, но и там никто ничего не знал. Да и знали бы, думаю, вряд ли сказали. Народ там своеобразный проживал. Хотя и сильно пьющий, но болтать лишнее не привыкли. Через несколько лет узнал: Анна сошлась с одним человеком, который оказался вором-рецидивистом. После очередной кражи его снова посадили...

Из ванной комнаты по-прежнему доносился утробный звук работающей машинки. Возникшая в разговоре пауза затягивалась. Наталья чувствовала себя неловко, словно случайно подсмотрела за чужой жизнью в замочную скважину.

– Ой, а про чай-то совсем забыли! – спохватилась она. – Остыл уж!

– Наверное, если бы Анна тогда вернулась, я бы простил, – не отрывая взгляда от своей чашки, продолжал Александр Иванович, словно не останавливался. – Наверное. Но она не вернулась. Вскоре у нее появился другой мужчина. Жизнь моей бывшей супруги пошла, как говорится, по наклонной. Спившись, она умерла в полной нищете в далеком северном крае, куда поехала вслед за сосланным в лагерь очередным ухажем. Об этом мне сообщили работники милиции. Я ведь не прекращал ее искать, регулярно отправ-

ляя запросы о семье. До сих пор не могу понять, как могла сильная женщина так опуститься?

Наталья подняла глаза на старика, задумчиво произнесла:

– Я где-то читала, что часто те, кто окружают человека в детстве, невольно формируют его будущее.

– Да, об этом писали и Фрейд с Юнгом, и Сартр...

– А что же с дочкой? Вы нашли ее? – В голосе Натальи послышалась надежда.

– Нет, не удалось. Анна очень часто меняла адреса, колеся по стране с любовниками. Это и затрудняло ее поиск. Вероятно, в какой-то момент она сдала Машеньку в один из детских домов, откуда мою девочку могли забрать в чужую семью, дать новую фамилию.

– Ваша супруга могла передать ребенка вам или хотя бы сообщить, куда сдала! – возмутилась Наталья. – Все же с родным-то отцом лучше, чем в казенном доме.

– Этого-то я и не могу понять и... простить Анне, – выдохнул Александр Иванович. – Что ею двигало? Страх? Стыд? Мне кажется, я был неплохим мужем и отцом.

Слушая его рассказ, Наталья невольно прониклась сочувствием к своему одинокому пожилому соседу. Ей снова вспомнилась родная мать, после смерти отца в одиночестве доживавшая жизнь в далекой рязанской глубинке.

Они не виделись несколько лет. Уехав в большой город, где было проще выживать, Наталья

поначалу связывалась с матерью. Но потом, выйдя замуж и родив детей, погрязла в семейных делах и постепенно стала забывать о ней. Почувствовав это, перестала звонить и мать, не желая отвлекать, напоминать о своем существовании, чтобы лишний раз не вызывать у нее чувство вины перед дочерне-сыновним долгом.

Иногда Наталья все же вспоминала о ней, мысленно каялась, клятвенно обещала себе: «Завтра! Завтра непременно позвоню! Все будет, как прежде». Но назавтра снова забывала...

Шумно загудев, стиральная машинка в последний раз вздрогнула и затихла. Жалея старика и не желая, чтобы своими воспоминаниями он и дальше бередил незаживающую душевную рану, Наталья стала прощаться.

– Спасибо вам, дядь Саш! – встала она. – Пойду. Поздно уже.

– Помилуй, за что? За машинку? Бога ради! Приходи всегда, когда будет необходимость.

– И за машинку, и за рассказ!

Уже в дверях, переминаясь с ноги на ногу, Александр Иванович с волнением в голосе вдруг попросил:

– Наташа, ты бы не могла хоть иногда приводить своих мальчишек ко мне? Не думай, – замахал он руками, – я найду, чем их занять!

– Ой, что вы, они же вам всю квартиру перевернут вверх дном!

– Эка беда! На то они и дети. Приводи. Сама освободишься немного. В кино-то вдвоем с мужем давно ходили?

– Так телевизор же есть!

– Телевизор-то есть, а романтики – нет! Приводи ребят. – Потупив взор, старик с грустной улыбкой сознался. – Скучно одному, понимаешь?! Жизнь многих людей так устроена, что пока ты молод, ты – зрим. Тебя видят на работе, не забывают друзья-товарищи. Потом ты становишься стариком. А у стариков нет будущего. Есть только прошлое, которое осталось далеко за поворотом, и настоящее, которое называется старостью. На тебя уже мало кто обращает внимание. Зачем?! Ты перестал быть нужен. Почти никто не помнит, кем ты был, чем жил, какую пользу приносил обществу, кого любил. Неожиданно приходит понимание, что вокруг совершенно другие люди – молодые, нетерпеливые, часто дерзкие. И ты им уже мешаешь: в транспорте, у кассы, в поликлинике, на пешеходном переходе. Он торопится на своем авто, а ты еле ползешь. Ты еще встречаешься со своим прошлым, но уже чаще на кладбище, провожая в мир иной тех, кого знал, уважал, любил. Сам ты еще задерживаешься на этом свете, но остро понимаешь, что это ненадолго. Конечно, ты богат, если у тебя есть дети, внуки и ты ими любим. И счастье, если они рядом. А если далеко? Тогда ты напоминаешь им о себе телефонными звонками. Сами-то они вечно заняты и все реже вспоминают о тебе. Постепенно твои звонки начинают их раздражать. Они отвлекают молодых от работы, от жизни. А некоторым напоминают о собственной черствости, и это им не по нраву. – Наталья слушала

умудренного долгой жизнью человека и чувствовала, как внутри нее что-то переворачивается. Это он сейчас ее мысли озвучивал. – Ты это понимаешь, но страх быть забытым заставляет тебя названивать снова и снова, ведь это единственная нить, связующая вас, и она рано или поздно может оборваться. Тогда все. Тогда ты окажешься в вакууме. В застенках своей квартирки. И умирать ты будешь, сознавая всю нелепость своего бытия. Если ты одинок, конечно! Одиночество – самое страшное наказание в жизни. Вот почему я сказал тебе во дворе, что это счастье, когда есть, за кем стирать, убираться...

Ночью Наталье не спалось. Вспомнилось детство, мать в простеньком платице, ее заботливые руки и... слова пожилого соседа о «невидимых людях», брошенных и забытых. Уткнувшись лицом в подушку, она застонала...

На следующий день Наталья вновь пришла к соседу. И снова были пирожки с вареньем, и долгая тихая беседа о жизни. Перед тем, как расстаться, она не выдержала, сказала со свойственной молодым людям прямоотой:

– Дядь Саш, не обижайтесь на меня, но ваша Анна... – Она на секунду запнулась, подбирая слова. – Я где-то читала, что у вас, у мужчин, в характере доминируют чувства, эмоции. А у нас главенствует прагматизм. Ваша Анна хотела вырваться из той дыры, в которой жила прежде, и вы, поддавшись ее чарам, помогли ей. А дальше сработало то, что было заложено в ней изначально или сформировано окружением. Такое часто

встречается. Сами же говорили: народ там жил пьющий да гулящий.

– Я этого не говорил!

– Да вслух и не надо было.

Александр Иванович отвел глаза в сторону.

– Наверное, ты права. Вот и Владик с Антониной мне не раз об этом говорили. Все пытались уберечь от нашего брака, только я поздно это понял. – Голос старика наполнился теплотой. – Хорошие у меня были друзья! Долгие годы помогали в поисках дочери...

С того времени квартира деда Саши, как его теперь называли сыновья Натальи, часто наполнялась их звонкими голосами. Нередко они с мужем и сами задерживались допоздна у гостеприимного хозяина. Несмотря на большую разницу в возрасте, между мужчинами скоро установились крепкие дружеские отношения.

Наталья замечала, что всякий раз, когда приводила своих малышей, глаза пожилого мужчины наполнялись светом, а ссутулившиеся плечи распрямлялись, словно в его тело вливались свежие силы. Все чаще из закутков памяти выплывал образ матери. Все чаще она созванивалась с ней...

В начале лета Наталья с семьей поехала на свою малую родину, знакомить бабушку с внуками, чтобы на одного «невидимого человека» стало меньше в этом мире...

А музыка хрустальная...

Это была его старая привычка – перед очередным концертом, стоя за кулисами, вглядываться

в лица людей, заполнявших зал. Так он выбирал одного единственного зрителя, которому, собственно, и посвящал свое выступление. Сегодня его внимание привлек пожилой мужчина в очках, занявший место в третьем ряду. Старик с интересом разглядывал сцену, где собирался оркестр. Вглядевшись в его лицо, Гордеев оторопел: «Дядя Жора?!»

Вернувшись в гримерную, он присел к столику и стал задумчиво всматриваться в зеркало, висевшее на стене, точно хотел увидеть в нем лицо человека, только что замеченного в зрительном зале. «Этого не может быть! – протирая салфеткой вспотевший лоб, вслух произнес Гордеев. – Я, верно, обознался»...

Дверь гримерной отворилась, и на пороге показалась Варя, его помощница.

– Сергей Алексеевич, через пять минут начинаем! – напомнила девушка.

Недовольный тем, что прервали его мысли, руководитель оркестра народных инструментов нервно махнул рукой, дескать, помню.

...«Это сколько же лет-то прошло? Не меньше сорока? Конечно, обознался. Если уж мне за полвека перевалило, то ему сейчас должно быть лет семьдесят пять–восемьдесят? Впрочем, другой вполне бы мог еще жить, только не дядя Жора с его лагерями».

Память ураганным ветром унесла Гордеева в далекое прошлое...

Семья Сережи проживала в небольшом курортном поселке, похожем на десятки других, разбро-

санных по всему черноморскому побережью. С поздней осени и по весну жизнь вокруг замирала. Лишь ближе к купальному сезону поселок просыпался. Теплое море и жаркое южное солнце привлекали отдыхающих из разных мест огромной страны. Особенно тянулись сюда северяне.

Гордеевы обитали в небольшом доме барачного типа, имевшем два входа. Дальнее крыло занимали рабочие местной фабрики. В секции, где ютилась семья Сережи, проживали две одинокие женщины – Валентина, лет тридцати, и пожилая, которую все вокруг звали бабой Верой.

Когда-то, едва окончив среднюю школу, Валентина вместе с другими девушками приехала в этот поселок из далекого Новгорода, чтобы заработать денег на сборе урожая фруктов и винограда. По окончании сезона все подруги вернулись на малую родину, а Валентина решила остаться еще на год-другой, и, как оказалось, навсегда.

О бабе Вере было известно, что молодость ее прошла в лагерях, куда еще до войны была сослана вслед за супругом, талантливым инженером, по чьему-то навету признанным судом агентом иностранной разведки. Муж ее, страдавший тяжелым почечным недугом, умер в лагере, так и не увидев больше своих близких. Сама же баба Вера, отсидев определенный ей судом срок в десять лет, потеряв в холодных северных лагерях здоровье, решила после освобождения обосноваться на юге страны.

Многие годы она посвятила поиску единственного сына Артема, родившегося еще до их с

мужем ареста в 1937 году. Долгий розыск результатов не дал. Бабе Вере удалось лишь узнать, что сына отправили в один из многочисленных детских интернатов, открывавшихся в те годы по всей стране. Второй раз замуж она выходить не захотела и сейчас доживала свой век в одиночестве.

Сережина мама дружила с бабой Верой. Часто приглашала к себе скоротать вечер за чашкой чая и кусочком пирога с фруктовой начинкой. Старушка любила ее выпечку. Судача о том о сем, женщины нередко обсуждали и свою соседку.

Странную жизнь вела Валентина, непонятную десятилетнему Сереже. Крупная и крепкая в теле, с вечным румянцем на щеках, она раздражала соседей своей патологической ленью. Тяжелой физической работы Валентина чуралась, ссылаясь на слабое здоровье. Устроиться же на «козырную» должность с хорошей зарплатой не могла: не хватало образования.

Особенно невзлюбила молодую соседку баба Вера и свою неприязнь к ней не скрывала. «Да на тебе пахать надо! – ворчала при случае, по лагерной привычке закрепляя свое возмущение крепким словом. – На зоне быстро бы приучили к труду! Там с такими не церемонились».

По природе добрая, готовая в любой момент прийти соседям на помощь, Валентина, в общем-то, страдающая от своей непутевой судьбы, отшучивалась: «Мне и тут хорошо».

В те годы безработным оставаться было нельзя. За это могли привлечь к ответственности. Чтобы избежать частых бесед с участковым о вреде

трусничества или социального паразитизма, как выражался капитан Иванов, Валентина, в конце концов, устроилась дворником, метя по утрам центральную площадь их небольшого поселка. Маленькой зарплатой не хватало не только на вино, к которому она быстро пристрастилась, но даже на курево. Заядлая курильщица, Валентина собирала окурки, чтобы затем делать из табака самокрутки. Такая жизнь не могла вечно устраивать молодую женщину, и скоро она завела в соседнем портовом городе знакомства среди мелких воришек и разного рода барыг, которые иногда подбрасывали ей недорогие вещи для перепродажи.

Постепенно однокомнатная квартирка Валентины стала превращаться в место частых посиделок с ее новыми друзьями. Такие вечеринки нередко заканчивались за полночь пьяными ссорами.

Шум и драки, естественно, не могли не вызвать у семейных соседей праведный гнев. После неоднократных жалоб участковому о нарушении ею правил общежития, Валентине пришлось прекратить свои «душевные вечера». Однако мужчины из города продолжали навещать ее, только соседей это уже не очень беспокоило. Шум прекратился, а то, что Валентина продолжала вести образ жизни, не вписывавшийся в каноны поведения советского человека, никого, включая местную власть, особенно не интересовал. Непартийная, что с нее взять?!

Мать Сережи Валентину не любила, но по-женски жалела. «Одинока, оттого и несчаст-

лива!» – оправдывала она ее перед бабой Верой. «Гулящая! Пьющая! Одним словом – непутевая! – кривила старушка брезгливо сухие губы в глубоких морщинках. – Ни Бога, ни людской молвы не боится. Ей бы мужичка какого взять да осчастливить, замуж выйти, детишек нарожать, а она развратом занимается».

Квартирка у Гордеевых была крохотной, из двух небольших комнат. Всякий раз, ругая Валентину, баба Вера понижала голос, чтобы сидевший за худой стеной в соседнем помещении мальчишка не слышал ее. Вот и сегодня, забившись в любимый уголок у окна, Сережка нещадно пощипывал струны приобретенной на днях балалайки, делая вид, что слишком занят, чтобы слушать глупые бабские разговоры.

С инструментом этим у него вышел полный конфуз. Вернувшийся после срочной службы в армии Колька Петров с соседней улицы привез с собой гитару. Вечерами, окруженный восторженно вздыхающими девушками, чем вызывал зависть у пацанов, он неистово наяривал у местного Дома культуры на своей шестиструнке. Особенно любил песни модного в то время Владимира Высоцкого. «Парус, порвали парус! Каюсь, каюсь...», – громко хрипел Колька, срывая голос.

С красной ленточкой на грифе, со сверкающей лаком декой и звонкими струнами, инструмент этот очень приглянулся Сереже, и он пожелал иметь такой же. Не откладывая просьбу сына в долгий ящик, мать отправилась в город. У себя-то, в поселковом магазине, музыкальные инстру-

менты отродясь не продавались. Вернувшись домой, она вручила растерянному сыну... балалайку, заявив: «Гитар в продаже не было. Играй на этом».

Попытка самостоятельно осилить балалайку успехом не увенчалась. В поселке учиться игре на этом трехструнном инструменте Сереже было не у кого, и он уже готов был свыкнуться с мыслью, что покупка эта совершенно напрасная. Но тут неожиданно случилось событие, которое предопределило всю его дальнейшую жизнь.

Однажды вечером, когда Сережка вместе с матерью и бабой Верой, заскочившей по обыкновению перед сном перекинуться парой слов, чаевничали, к ним влетела Валентина.

– Едет! – выдохнула соседка, кладя на стол исписанный мелким убористым почерком листок бумаги. – И что мне теперь делать?

Многим на их улице было известно, что Валентина уже несколько месяцев переписывается с неким Жорой, отбывавшим наказание в одной из северных колоний за воровство. Когда она была старшеклассницей, а он уже студентом музыкального училища, они проживали в одном городе и дружили. Только это было так давно, что Валентина позабыла своего первого ухажера.

В первый раз Георгий Ружин попал в колонию в девятнадцать лет. Вместе с друзьями, решив прокатиться по ночному городку, угнали машину, а разбив ее, попытались скрыться, но были пойманы бдительными стражами порядка. Отсидев срок, он вскоре вновь попал в тюрьму.

Теперь уже за воровство. В надежде поживиться, ночью залезли с подельниками в сельский магазин. Уйти не удалось. Подоспевшая милиция всех скрутила. На этот раз сидеть пришлось дольше. Тогда-то и потеряла Валентина окончательно его след. А некоторое время назад Георгий внезапно объявился, прислав письмо, в котором признавался, что всегда помнил о ней и что хотел бы повидаться со своей первой любовью. Для Валентины оставалось загадкой, где он раздобыл ее адрес и от кого мог узнать о ее одинокой жизни. С этого момента и началась их переписка.

В последнем письме Георгий сообщал, что срок его последнего заключения подходит к концу и что он намерен покончить с прошлым и начать новую жизнь в Ленинграде-Петербурге, о котором они вдвоем когда-то мечтали. «Однако если ты захочешь остаться на югах, – заканчивал Георгий свое послание, – то готов перебраться к тебе, устроиться на работу...»

Рассказ Валентины тронул мать Сережи и, как ни странно, бабу Веру. Вернувшийся к этому времени с работы отец, выслушав грустную повесть соседки о первой любви, вымолвил, привычно покручивая ус:

– Если человек решил измениться, значит, Бог в душу заглянул, осветил ее. А что сиделец, так то ему, видать, на роду написано было. Ты и сама не без греха, чего уж. В общем, готовься, Валентина, мужика встречать! Считай, то судьба твоя едет. – Алексей Гордеев размял сигарету, вставил в рот, потянувшись к столу за спичками,

глубокомысленно вздохнул: – Начнете вдвоем новую жизнь. И ежели все у вас будет складываться, то мы всем миром поможем, чем сможем. Мебелишком кой-каким поделимся. У тебя же, окромя кровати, керогаза да стола со стульями, ничего и нет. Не нажила еще.

Валентина насупила брови, задумчиво произнесла:

– Может, и вправду, досе любит, а? Так-то он мне нравился. Добрый был, покладистый по характеру. Это его друзья с панталыку сбили.

– Помнит он тебя, а это что-то да значит, – проговорила молчавшая до этой минуты баба Вера. – Только ты сама отнесись к такому делу со всей серьезностью. Хватит уже паскудством заниматься. Ну, ты понимаешь, о чем я.

Хоть и мал был возрастом Сережка, но и он понял, что имела в виду баба Вера.

Часто выпивающая, но крепкая по своей природе, Валентина с удивительной регулярностью рожала, порою сама толком не ведая, от кого. Младенцев всегда оставляла в родильном доме, где их тут же забирали бездетные семьи. Перед знакомыми оправдывалась: «Мне одной, без мужика, не сдюжить, не вырастить ребенка». Окружающие осуждали: «Чего же ты не прерываешь беременность?» «Дак грешно это! – отвечала Валентина. – Господь накажет!» Бог Валентину не наказывал. Разок это сделали соседки, изрядно поколотив.

В очередной раз вернувшись из родильного дома, Валентина некоторое время не появлялась на улице. Стыдилась людской остротки. В эти

дни она заливала душевные терзания водкой с такими же, как сама, неприкаянными подружками из города.

Больше всех возмущалась баба Вера. «Бесовское отродье! – громко бросала непутевой соседке, завидев ее в окне. – Оставить дитя малое без материнской любви грех, а аборт сделать – Бога боишься? В лагере бы тебя за такое удавили».

«Будь я моложе, непременно взяла бы одного мальчика на воспитание», – говорила тем же вечером баба Вера Сережиной матери, вытирая слезы измятым носовым платком.

Однако желающих усыновить очередного новорожденного хватало и без нее. Многие, кого судьба обделила собственными детьми, с нетерпением ожидали появления на свет очередного ребенка от Валентины. К удивлению врачей и счастью этих семей, зачатые в пьяном угаре младенцы рождались совершенно здоровыми. Денег, которыми «вознаграждали» роженицу за ребенка, хватало ей недели на три, после чего снова возвращалась к своей метле.

Валентина ожидала приезда Георгия, чьи письма пробудили в ее озябшей от одиночества душе доселе спящие чувства. Совсем по-другому она теперь смотрела на семейные пары вокруг, замечала их заботливость друг о друге, бережное отношение к детям. Надеялась, что сможет и сама этому научиться. Одно лишь беспокоило Валентину: вдруг Георгий узнает о ее грешной жизни, отвернется, обратно уедет. Написать как есть о себе она не решалась.

Душевные переживания молодой соседки изменили ее внешность. Лицо посерело. Вокруг глаз появились темные круги. Даже баба Вера обеспокоилась. Встретив как-то раз Валентину в коридоре, завела к себе. Узнав, чего опасается соседка, потеплела взглядом, поддержала словом:

– Если полюбит – непременно простит все твои грехи. Да и соседи наши не из болтливых, – стала уверять. – Никто Георгию про брошенных тобой деток не расскажет. Это я беру на себя. Каждого обойду, с каждым поговорю. Только ты больше не дури, девка. Другого такого случая судьба уж не подкинет...

Георгий появился у их дома поздней дождливой осенью. Первым незнакомца с чемоданом и тяжелым баулом в руках встретил Сережка. Справившийся о Валентине мужчина был в распахнутом старомодном пальто, надетом поверх черного костюма и клетчатой рубашки, подвязанной у шеи широким красным галстуком.

На следующий день после приезда Георгия Валентина вновь собрала своих городских друзей, с которыми давно не виделась. Очевидно, ей хотелось показать им, что отныне она не одна.

В самый разгар веселья в дверь квартиры Гордеевых постучали. Вошедший, представившись Георгием Ружиным, расплылся в улыбке:

– Вот, зашел познакомиться с будущими соседями!

Алексей Гордеев, чинивший прохудившуюся обувь, смерил вошедшего долгим изучающим взглядом.

– Хорошим людям всегда будем рады! – наконец пробасил он сухо, вставая навстречу и протягивая для приветствия руку.

Слова его, несшие определенный смысл, заметно смутили Георгия.

– Надеюсь, буду хорошим соседом, – не меняя радостного выражения лица, ответил он. – Вот, решил начать новую жизнь. Как говорится: лучше поздно, чем никогда. Если, конечно, сладимся с Валентиной. Она, вероятно, рассказывала обо мне? – И тут же, понизив голос, поинтересовался: – И часто у нее такие веселые компании собираются?

Присутствующим стало очевидно, что знакомые Валентины не пришлись ему по душе.

– Нет, нет, – торопливо ответила Елена, мать Сережи, от всей души желавшая, чтобы у Валентины все сложилось с этим человеком. Ее приятно удивило, что после нескольких лет заключения Георгий говорил обычным, без блатной примеси, языком. – Это она на радостях, должно быть. Ждала вашего приезда.

Георгий предложил соседям Валентины присоединиться к их столу, но старший Гордеев отказался, сославшись на поздний час. Поинтересовавшись, нет ли у них гитары, и получив отрицательный ответ, мужчина собрался было уходить.

– Балалайка есть! – выпалил Сережа, тут же вытащив на свет запыленный инструмент.

Бережно взяв его в руки, Георгий удовлетворенно цокнул языком:

– Хороша! Играешь? – скосил он взгляд на мальчишку.

– Хотел бы, да не у кого учиться, – признался Сережа.

– Ну, это дело поправимое! – Георгий по-дружески подмигнул мальчику. – Я ведь не только на зоне университеты проходил, но и в юности в музыкальном училище проучился два года, так что могу поделиться знаниями.

Тут же, быстро настроив инструмент, их новый знакомый прошелся по струнам. В воздухе разлилась знакомая всем композиция о коробочке, полной ситца и парчи. Столь виртуозное владение балалайкой потрясло Сережу, все еще гадавшего, о каких университетах в тюрьме шла речь.

Бывший вор охотно взялся обучать соседского мальчишку игре на балалайке, словно был рожден наставником. Иногда, когда замечал, что тот заскучал, перестраивал инструмент на гитарный лад, умудряясь из трех струн извлекать удивительные ритмы.

С каждым днем Сережа все больше очаровывался новым соседом, мечтая, чтобы тот навсегда поселился рядом.

Взрослые же первое время с недоверием поглядывали на сожителя Валентины и всякий раз, покидая свои квартиры, тщательно проверяли замки. Ружин с пониманием относился к этому. Постепенно соседи перестали его опасаться.

Как ни старался, но поступить на работу Георгий не мог. Попытка устроиться водите-

лем в таксопарк или на грузоперевозки успехом не увенчалась. Узнав о судимости, руководители предприятий заворачивали его обратно. Так прошло несколько месяцев. Деньги, которые он привез с собой, заканчивались. Иногда Георгий помогал местному автослесарю в ремонте машин, но эти случайные заработки не спасали. Очень скоро Валентина стала проявлять недовольство, требуя больше денег.

Георгий жаловался Алексею Гордееву: «Тяжко, хоть в петлю лезь! Я же многое могу: слесарить, шоферить, плотницкому делу обучен. Но меня боятся. Понимаю: сам виноват! – поникал он головой. – Никому не хочется рисковать, принимая на работу вора, пусть и бывшего. Только что мне теперь делать? Не идти же снова воровать! Покоя хочется»...

Отношения с Валентиной не складывались. Это отмечали все соседи, наблюдая со стороны их частые ссоры. Единственной отдушиной для Георгия оставался соседский мальчишка, к которому он прикипел всей душой как к родному. Вместе они ходили на рыбалку, вместе проводили часы за игрой на балалайке.

«Ты на нее не смотри, как на глупый недодел или скудное изобретение человечества, – поучал дядя Жора Сергея, с любовью поглаживая инструмент перед очередным уроком. – Мол, всего три струны, что от нее взять. Да, не гитара, не скрипка, и что? Настоящий мастер может такую волшебную жизнь в нее вдохнуть, извлечь такую красоту и мягкость звука, так заставить подчи-

ниться своим требованиям, что иной «благородный» инструмент позавидует».

Поначалу Сережа, все же не теряя надежды освоить когда-нибудь гитару, нехотя брал уроки игры на балалайке, подчиняясь требованию родителей. Да и дядю Жору не хотелось обижать отказом. Сосед много и с увлечением рассказывал ему истории создания различных инструментов.

«Вот, взять хотя бы балалайку, – начинал Георгий в который уж раз. – Первое упоминание о ней было еще в 1688 году. А в 19 веке жил мужик один, Антипом Васильевым его звали. Играл он на примитивнейшей балалайке, но так залихватски, что зародил к ней любовь одного из своих учеников, Василия Андреева. С именем этого человека и пошла слава о балалайке сначала по всей России, а потом и за границу поплыла. Великий был человек, Василь Васильич Андреев».

– Что, так здорово играл? – стонал Сережа, засовывая в рот палец со свежей мозолью, набитой о натянутые стальные струны.

– Не только играл! Он создал знаменитый на весь мир первый оркестр балалаечников, назвав его Великорусским. Выступления его с триумфом проходили не только в крупных российских городах, но и за границей. Один только концерт в Лондоне в 1910 году чего стоил. До этого там ничего не знали о русской музыкальной культуре и русских инструментах. Англичане – народ весьма чопорный. Другой культуры, кроме своей, не признает. А русскую балалайку признал. Выступление оркестра Андреева вызвало триумф! В то время в Европе об этом все газеты писали»...

Постепенно пальцы Сережи перестали болеть, и ему стало нравиться выводить на балалайке известные мелодии.

Тогда еще никто не догадывался, что пройдет несколько лет, и этот мальчик сам начнет сочинять музыку, которую будут исполнять большие оркестры.

Как-то раз дядя Жора попросил у Сережи балалайку, решив, по совету бабы Веры, с которой сдружился, съездить в город «на заработки».

В тот день, играя в порту для прибывших на теплоходе иностранных туристов, Георгий Ружин, действительно, неплохо заработал. Окрыленный удачей, он на следующий день решил повторить успех. Но в этот раз не получилось. Вернувшись затемно в удрученном состоянии и без балалайки, он вызвал в коридор отца Сережи и тихо поведал, что был задержан портовой милицией. Она же и конфисковала инструмент.

Утром Алексей Гордеев первым же автобусом поехал в город. Балалайку ему вернуть удалось, но вот упротить начальника местной милиции разрешить музыканту играть на пирсе – не получилось. «Это что за позорище? – взревел начальник. – Ладно бы еще скрипка или аккордеон. А что такое балалайка? Вульгарность! Что иностранцы подумают о нас? Он бы еще вприсядку станцевал им...»

Услышав рассказ Алексея, Георгий нервно рассмеялся: «Невежа! Разве аккордеон может родить такую хрустальную музыку?» – и, схватив балалайку, заиграл старинную мелодию «Эй, ухнем!..».

С того дня дядя Жора впал в уныние. Мог подолгу сидеть на ступеньках, беспрерывно дымя любимыми папиросами «Беломорканал». Сереже было искренне жаль его. Пытаясь хоть как-то отвлечь от невеселых дум, он все чаще звал его с собой на рыбалку или просто побродить у моря.

Однажды, неплохо заработав на очередной шабашке в слесарной мастерской, Георгий Ружин возвращался домой в приподнятом настроении. Распахнув дверь, он застал пьяную Валентину в объятиях незнакомого мужчины. В тот же час, не говоря ни слова, собрал чемодан и, попрощавшись с семьей Гордеевых и бабой Верой, с коими сблизился за это время, отбыл в город. Особенно тяжелым было его расставание с Сережей.

На следующий день, едва солнце достигло зенита, в квартиру Гордеевых заглянул участковый.

– Вчера Георгия задержали! – объявил он, застав в комнате главу семейства. На немой вопрос пояснил: – Коллеги по телефону сообщили – магазин обокрал. Чего-то там вынес. Что характерно, недалеко отошел, точно хотел, чтобы его взяли.

– Так и есть, – огорченно воскликнул Алексей. – Человек осесть хотел, жизнь изменить. Не смог, не получилось. Вот и решил, очевидно, что на зоне ему лучше будет. Привычнее, что ли.

– Да, жаль Георгия, – вздохнул капитан. – Не с кем теперь будет в шахматы рубиться. А как он играл! – Достав из кармана ключи от своего

«Москвича», милиционер решительно произнес: – Я в город! Узнаю на месте, что да как.

Заметив в глазах расстроенного сына слезы, старший Гордеев потянулся за рубашкой:

– Я с тобой!..

Вечером отец вернулся домой злой, бросил в угол пакет с новыми туфлями. На замечание жены, что только недавно купили ему пару, раздраженно бросил: «Не помешают». На вопрос – видел ли Георгия, буркнул: «Нет, не позволили», – и ушел спать. Модные туфли отцу оказались малы на два размера и были подарены одному из соседей.

Прошло немного времени и о Ружине забыли, словно и не было человека. И только Сережа вспоминал о нем всякий раз, когда брал в руки балалайку.

Через несколько месяцев Валентина родила дочь. Впервые в жизни она захотела оставить ребенка. Баба Вера, охотно взявшаяся помогать ей, предложила назвать девочку Катериной.

Катю растили всем домом. Соседи помогали неопытной мамаше, приносили продукты. Когда девочке исполнилось четыре года, Валентина, все больше спиваясь, сдала ее в детский дом. Иногда она забирала на лето дочь и тогда, как и прежде, соседи принимали активное участие в судьбе девочки. Особенно ею занимались мать Сережи, ставшая ей крестной, и баба Вера...

Третий звонок возвестил о начале концерта. Оркестр, прекратив какофонию, замер в ожида-

нии своего руководителя. Сергей Гордеев вышел на сцену, держа перед собой балалайку.

Обычно концерт начинался с широко известной композиции. Так было проще настроить зрителя на нужную волну. Но сегодня руководитель и ведущий музыкант решил изменить своим правилам. Выхватив взглядом старика в третьем ряду, Гордеев обратился к залу, демонстрируя свой инструмент на вытянутых руках:

– Друзья! Что такое балалайка? Что означает она для русского человека? Известно, что это наш, народный, национальный инструмент, которым мы по праву можем и должны гордиться. Но знаете ли вы, что было время, когда балалайку называли скудным изобретением человечества? Нерадивого специалиста, будь то плотник или даже инженер, называли балалайкой. – В зале послышался смехок. – Да, да, так и говорили: «Ты не повар, ты – балалайка». Об этом мне рассказывал мой первый учитель, чью фамилию я, к сожалению, за давностью лет позабыл. Его звали дядя Жора... – Гордеев заметил, как дрогнули плечи старика, с которого он по-прежнему не сводил глаз. – Этот человек зародил во мне любовь к инструменту, способному создавать особую, я бы сказал, хрустальную музыку.

С последними словами Сергей Алексеевич слегка коснулся одной из струн, прошелся пальцами по другим, и вот балалайка, томно вздохнув, заплакала. Тут же, по неувловимому знаку руководителя, подключился оркестр. Сначала затосковала скрипка, к ней присоединилась вио-

лончель, загудел, заухал контрабас. Балалайка в руках музыканта то замирала на мгновение, то начинала безжалостно выть. Зал, убаюканный томным piano, вдруг взрывался от сумасшедшего fortissimo так, что казалось, балалайка рискует остаться без струн.

Долго играли музыканты в тот вечер. Протяжные хоровые сменялись свадебными композициями, а те уступали место шуточным. В тот день Гордеев провел концерт на особом подъеме.

Когда оркестр закончил играть, публика взревела от восторга. Поднявшись с мест, люди долго аплодировали маэстро и его музыкантам.

Они встретились в примерной, куда Варя, по просьбе Сергея Алексеевича, привела старика. Усадив его перед собой, руководитель оркестра поинтересовался:

– Как вам сегодняшнее выступление вашего ученика, учитель?

От удивления рот гостя приоткрылся. Прищурившись, он сквозь толстые линзы очков стал пристально вглядываться в лицо музыканта:

– Мы знакомы?

Сергей Гордеев больше не сомневался: перед ним, действительно, был его первый учитель.

– Здравствуй, дядя Жора!..

Четверть часа спустя они сидели, обнявшись, словно отец и сын. Обоим хотелось разузнать как можно больше друг о друге.

Из короткого рассказа дяди Жоры Сергей узнал, что в тот злополучный день, когда он покинул их дом и оказался в городе на вокзале, какой-

то злой рок, а может, безысходность, толкнули его войти в обувной магазин и вынести первое, что попало под руки.

– Меня ведь твой отец с участковым от очередного срока уберегли. Век благодарен им буду, – произнес старик. – Каким-то образом уговорили директора магазина забрать заявление. Подозреваю, что одному из них пришлось заплатить за те злосчастные туфли.

– Отцу, – подсказал Сергей, улыбнувшись.

– Жив, нет? – Узнав, что старший Гордеев давно почил, Георгий Ружин сокрушенно покачал головой. – Светлая память! Хороший был мужик. М-да. Пошел навстречу и начальник местной милиции, – продолжал он свой рассказ. – Лично сам посадил меня в поезд и отправил куда подальше. Так я и оказался в этом городе. Здесь рискнул, зашел по объявлению в местную музыкальную студию. Им как раз нужен был учитель, чтобы вести занятия по игре на струнных инструментах. Сначала дали взрослую группу. Кто же доверит бывшему зэку детей?! Через несколько лет позволили и с ними заниматься. Теперь у меня много детишек учится, – повеселел он. – И пусть Господь своих не дал, но я счастливый человек...

Сергей Алексеевич слушал старика, и душа его замирала в радостном волнении. Он представил, как сегодня же позвонит Катерине и расскажет ей о дяде Жоре, ее отце, которого она безуспешно искала много лет...

Набегают слова, как слёзы,
набегают, катятся, жгут,
как лавина дождей на
берёзовую,
на весеннюю синюю жуть...

Зарастай, лиловей, страница!
серебрись, моя голова!
Жил как не жил,

как дождь

струится:
перегоны, платформы, лица,
грусть,
ресницы,
земля,
трава...

Старые сосны

Эти старые сосны
помнят юность твою,
олений твой бег неутолимый
по склонам и рошицам,
твои восходы и закаты,
восторги, обиды и осознания,
горечь и озарения

слепительные,
головокружение первых
поцелуев
и жажду жизни
стремительно
ускользающей...



**Станислав
ПОДОЛЬСКИЙ**

Поэзия



Вкус воздуха.
Родника мелодия
 незатейливо-нежная.

Ласки речки
 ледово-жгучие.
Обещание счастья, которое
и было счастьем...

Эти старые сосны –
невидимки отечества

Мемориал юности

Юг черно-алый,
 синего неба провал.
Здесь моё детство скрывалось,
 здесь горевал...

Брат и старухи.
 Мертвое время. Мечта.
Страхи и слухи.
 Скуки ночной чернота.
Запах несчастья.
 Эвакуации крест.

Нищий возврат из горластых,
 из раскулаченных мест...

Где вы, сестрицы?
 Брат накануне конца.
Эй, отзовитесь
 зовом родного лица!..

Где это было?
 Чёрным былём
поросло.
Там, где могила
 и воскресенье моё.

Черновики и беловики

То, что брезжило в черновиках,
в чистовых вариантах пропало.
То, что в жизни рвалось и блистало,
потемнело «во первых строках».
То, что грезилось в снах и мечтах,
жизнь крушила, кроила и мяла.
То, что в небе высоком свистало,
намечалось что в тайных чертах,
что витало в намётках так терпко,
обжигая – до крови, до пепла,
что в душе разрасталось и крепло,
тяжелело и зрело – в руках,
что в ветвях трепетало и пело –
потонуло в пространстве, в пробелах,
в симпатических беловиках.

Контрасты

Читаются только контрасты.
Невидимо ровное счастье.
Счастье ослепительно лишь на горестном фоне
ослепляющей боли.
Жизнь рисуема жгучим лучом
на листке беспросветной вселенной.
Среди чёрных и белых квадратов ночей и дней
заблудился, скитаюсь сожжённой замёрзшею
тенью,
натываясь на лезвия светотеней,
в чёрно-белом предутреннем мире весеннем,
расцветающем нежно-зелёным растением –
снежно-белой дочуркой моей.

Февральский снег

Вот и снег пришёл, широкий, большой.
Видно, долго шёл – падает...
Не зря не спешил: поля порошил,
даль и глубь, и ширь радуя.
Издалёка шёл, грузный, как монгол,
от якутских сёл, крадучись,
над долом пустым, над лесом густым
через всю Сибирь-матушку.
Байкалу мигнул, Обь перемахнул,
Уралу сверкнул дымному,
а там, чумовой, шёл Волгой-рекой,
пил влагу её имени...
Вот вырвался в степь, продрог и ослеп,
стога заносил, озими,
и лишь в феврале прижался к стерне,
расшибся душой оземь...
Так значит пришёл, могучий, старшой.
Видно, трудно шёл – падает.
Мимо всех кручин следы протащил,
малых и больших радуя...

Так и я витал. И я ведь плутал,
в пути коротал время.
Пришёл – и упал. Пришёл – и припал,
И обнял – в снегах – землю.

Предзимье

Осень прошла, просверкала, истаяла,
словно цветная зыбкая тайна.
Сколько немислимо сгинуло в ней

радостных, искренних, быстрых вестей!
Сколько убийственно кануло в Лету
осеней, вёсен, мыслей и песен!
В стылом пространстве горит как намёк
свежий кленовый кровоподтёк...

Как всё томило в грозном начале!
Как всё ломилось, силой играло,
ветви ломало грузом плодов,
наземь швыряло, юзом несло!
От непомерных сердца усилий
вспыхнуло яро – в блеклом и сиром.
Душу объяла бурная ширь.
Пламя шныряло, выло неистово!..
Канула жгучая тайна души
в пепельном, хмуром, зябком и мгlistом.

Осень свою проворонил в бреду!
Кто возвратит мне её откровения?..
Кружатся чёрные птицы в саду
копотью чистой, густой – всесожжения...

Хризантема

Снежинка! Неженка! Гордячка!
Хрипучей осени скрипачка
с росинками на коготках!
Зимы летучая беглянка!
Душистый иней, на устах
не тающий...
Сквозь пёстрый прах
атласнейшая самозванка
явилась светлизной блистать!..

Невозмутимой северянки
непостижимая душа...
Цветенье белизны нетленной...

Я рынком брёл. Она вошла,
вдохнула лепестками всеми,
туманным взором обдала
и, зубками блеснув, несмело
подобно облачку взлетела
и канула, и уплыла –
пушистый морок, снег у рта –
смеющаяся Хризантема...

Мальчишка

Я говорил о детстве дорогом,
где речки чисто и прозрачно пели,
и вышел в города сырой проём,
где грязь на улицах и ржавые капли.

Проносятся, гремя, грузовики.
По кругу мчит порожняком морока.
Здесь поминать о прежнем не с руки:
все ждут давно завещанного срока...

И пескаря в речушке мутной нет,
И жалкого обидно урожая.
Куда девался ранний влажный свет?
И юность не болит – как жизнь чужая...

А где-то ведь за каменной стеной,

в каком-нибудь садочке, по старинке,
мальчишка мучится как заводной,
и слёзы радости глотает, как росинки.

Взглянуть его глазами на себя,
на мир, исполненный загадочных
стремлений, –
и детство длится! Под ногой – стезя!
И нет тоски, безумия и лени...

Жизнь деревьев

У деревьев не быт,
а бытие.
В нём – событие
за событием...

Вот уж снова –
жилистым, битым –
осень, словно война,
грозит им.

Что ж, не станут
деревья кланяться,
стенать, жаловаться,
печалиться.
Просто сбросят
пышноты лиственные,
чтобы чёрные торсы
выстояли.

Бездна

Сквозь туман кремнистый путь блестит.
М. Лермонтов

Вымираю в ясности осенней:
что-то тяжело падает на душу.
Ни добра вокруг, ни преступлений.
Просто рушит
время все преграды и препоны
между бытом и небытием...

Что мне ваша слава и гоненья!
Мы – вдвоем
с вышним Светом – над безумной бездной.
Сквозь туман кремнистый блещет путь...
Может быть, Душа и в этой бездне
скажет: «Будь!»

У реки

Кипят и мчатся мартовские воды,
в них столько мути, ярости и зла!
Но к осени, переболев невзгодой,
очистится певучая струя.
Так в юности летела криво-косо
ты, жизнь моя, мутна и холодна,
ты столько щедрого бросала по откосам,
что нынче светишься до дна.
В тебя глядятся дети и синицы,
тебя в кувшинах женщины несут,
жар утоляешь, освежаешь лица...
А помнишь мартовскую жуть?

ВРЕМЕНА

Коловорот

Ты возьми-ка в горсть с
берегу песок, поднеси к гла-
зам – там все песчинки разные,
а чуть отодвинь – и все уже
одинаковые. Точь-в-точь, как
и люди, что потом станут этим
вот песком никому не ведомым.

Но не все герои неведомы –
о ком-то сказаны сказаны...

– Езжай тотчас, не медля! –
князь махнул рукой, разрешая
идти, и гонец Данила с места
сорвался, выбежал на двор да
на коня – только ворота и успе-
ли распахнуть, он уж вылетел –
только снег за ним закружился.

– Успеет ли? – прошептал
князь, вслед ему глядячи.

На Рязань Бату-хан шел.
С дороги послов слал, чтоб деся-
тину дали, да коней, да людей,
да провианту. Созвал совет
князь Юрий Игоревич, и решил



Александр
ПОКРОВСКИЙ

Проза



тот совет князей ответить хану: «Нас не буде, всё ваше буде», – гордый ответ, да вот только потом-то зачем к хану сына своего послал, княжича Федора с посольством и дарами? Чтоб не шел на Рязань хан?

А хан тот, что волк степной, слабину за версту почуял – смерть княжич принял страшную, посекали его со товарищами, псам тела бросили. И теперь князь Данилу-гонца за воеводой Евпатием шлет, что за подмогой на Чернигов ушел тому, как три дня, с дружиной малою – а князь-то владимирский в помощи Рязани отказал.

– Поспеши, Евпатий Коловрат, поспеши, боярин мой любезный!

Колокол вещий на молебен собирает, а князь один перед образами молится.

– Богородица, заступница, помоги мне и народу моему, не выдай на поруганье идолу поганому. Силой страшной идет, в десяток на одного, как не в два десятка – не сдюжим мы одни, помоги, мать божья, заступись.

– Всем во храм молиться!

Молятся все, а князь с дружиной уж встречать Батыя собирается у реки Воронеж.

Гонец Данила легок, конь у него, что твой ветер. Чует верный конь лихих людей, от стрелы унесет, от меча уклонится. Знает Данила, когда к гриве коня припасть, а когда и вовсе сбоку свеситься, рукой земли касаясь, чтобы грудь под погибель верную не подставить – всё ему конь скажет, всё дрожью своей передаст, вынесет конь – уж день да ночь скачут.

А у реки Воронеж встретились воины Бату-хана и рязанцы гордые. Сеча была лютая. Полегли рязанцы, земли своей не посрамив, – отступил князь с горсткой воинов в Рязань крепкую.

С ходу навалился Бату, да отпор получил: смолу кипящую лили, стрелами били, камень бросали – к Батыю подмога прибывала и прибывала – машины стенобитные подвезли, пятый день шел.

Настиг на тот день гонец Данила Евпатия Коловорота и дружину его – полумертвым гонец был и конь его: не спали, не ели, не пили – гнались.

– Рязань! – только и смог Данила вымолвить.

– Что? – поворотил коня Евпатий.

– Князь просит...

Бросилась дружина в обратный путь, а в Рязань уж ворвались – защитников-то совсем не осталось. Погибли все, никто о милости не просил. Пленных мало взяли. Всех побили: жен, матерей, стариков, детей. Били так: за руки двое держали, а один топором рубит – так убили всех, и город сожгли.

Евпатий с дружиной только прибыл, а уж Рязани и нет – пепелище одно да тела всюду рубленые. Ком в горле сердце душит, стояли дружинники в великой муке, на дела врагов лютые смотрели.

Нашел Евпатий и семью свою посеченную – всё семя извели. Опустился он на колени, и дружина за ним опустилась:

– Господи, силы дай мне! Богородица, не взыщи, нет во мне прощения для нелюди этой.

Прости ты меня! Один я теперь и семья моя – дружина верная! Кто из дружины уйти хочет, тот пусть идет – не неволю. Остальные – за мной! Проводим хана с честью. Крови он хотел испить нашей, так мы ему чашу поднесем. Соберите всех, кому проводы хана по сердцу. А павших – хоронить.

Ямы рыли неглубокие – землю мерзлую кострами грели, тела снесли, сложили друг на дружку, землей прикрыли и в путь, гнаться за ханом.

В суздальской земле хана нагнали – в спину ударили. Тысяча семьсот рубак у Евпатия было, так он с ходу тысячи три ханцев и срубил. Сперва стрелами в спину ударили, а там и мечами да пиками достали. Топорами били да палицами. До палиц охотников много случилось, как ударит молодец палицей, так и всадник делается, как без костей, так и конь его. А Евпатий с одного удара пополам рубил.

Смятение в войске Батые случилось, смялся воинов строй – отскочили. Прислали спросить: «Кто вы? Что хотите?»

«Рязань проводить хана хочет. Чашу поднесем – не побрезгуйте! А еще хотим одного – умереть!» – был им ответ.

И послал хан Батый великана Хостоврула, что вызвал Евпатия на бой. Евпатий вызов принял и рассек того Хостоврула на две половины, а потом и прочие бить стали.

Со всех сторон охватило воинство Батые дружину Евпатия, но дружина та уж и не дружина

была – смешались, не разобрать где кто. Один бился с тремя, а как побивал их, так со следующими тремя бился, меч пополам – чужой меч в руку, а как без меча, так чем под руку, а как нет ничего, так руками голыми рвали нечисть.

На холме потом Евпатий со товарищами оказался и никак не могли его взять. Сотню шлют – ложится сотня. Другую шлют – и она ложится. Долго бились, пока машины стенобитные не поднесли, да камнями не завалили. Погиб и Евпатий, и вся дружина его.

Шестеро осталось. Их, израненных, перед Батыем поставили, чтоб он посмотрел на них.

И Евпатия из-под камней достали, и тело его Батыю представили.

– Ах, Евпатий, – сказал тогда Батый, – ка бы был ты со мной, держал бы я тебя у сердца своего.

И приказал Батый отпустить живых рязанцев, выдав им тела героев.

И отпустили их.

Крепко запомнил то Бату-хан, и его крепко запомнили на Руси гордой в 1237 год от Рождества Христова.

Коломна

Кто помнит бывшее земли русской? Летопись? Ой, ли!

Только земля городищ хранит под спудом своим следы пожарищ давних, да в памяти людской о ратях прошлых уложатся заметы сердечные.

Только кончилась брань жаркая, сеча злая – отступили дружины рязанские с князем Юрием Игоревичем от реки Воронеж к Рязани, на хвосте за собой Батыево воинство ведя. Не спешил за ними Батый – по следам всё равно видно, кто куда ушел.

Но не все свернули к стенам Рязани. Князь Роман Ингваревич с дружиною своей ушел к Коломне.

– Иди, не мешкай, – говорил ему князь Юрий.

– Как же то, княже? – спросил князь Роман.

– Так же! Пусть он силы делит, и здесь останется, и за тобой уйдет в Коломну, а там и Владимир рядом. На владимирскую землю Батый придет. Ты его за собой приведешь. Вот и буде знать князь владимирский, что Юрий-то Всеволодович, что уговор его с Батыем пыли дорожной легче. Не всё же нам одним страданье ведать. Чай, князь Юрий на землю рязанскую и сам зарился, а как помощь потребна, так сразу с Батыем и в договор вошел, что не выступит с нами? Батыем разорить нас вздумал, а посла и под себя взять? Так выходит? О нас не помышляй. Прощай, князь Роман. Уводи своих.

И простились они. Повел Князь Роман к Коломне дружинишку, оставив за собой Рязань пылать.

Воеводой у него Векша был. С воеводой в дороге разговор был.

– Князю владимирскому и к московскому князю гонцов послал, что у Коломны их подмоги ждем?

– Сделано.

– Надолбы супротив коней у Коломны поставил ли?

– Поставил, княже.

– И еще надобно. На льду. В два ряда. Наискось ставить потребно, чтоб стреле мешать поболее. На манер бойниц. В лед бревна вморозим, да и не по одному для силы. Лунки рубить, воду сверху лить. Обледенеть должны. И щиты приготовь. Двумя щитами прикроюсь с обеих рук, как они на скаку стрелой бить начнут, да и ставить дружину надо не ближе тридцати сажень к надолбам – там стрела на излете. На левом берегу коломенском надолбы ставить, чтоб они стрелу на полном скаку справа пускали – несподручно то, да и сила не та. И лучников толковых приготовь – по коням бить, чтоб падали и в свалке давили друг дружку.

– Знаю то.

– Не лишнее напоминание. Хан за припасами идет. Всё зерно в лес на займку, а что не успеешь – жечь.

– Сделаем.

– Тайный ход готов ли?

– Вырыли.

– Бой у надолбов примем. А ежели отступим, так и поделим людей. Пешие – в городище с тобой, в Коломну, конные – со мной после сечи на Козельск – измотаем хана, если бог даст. Битых в сечи с собой в город бери. Там разложишь, чтоб защитниками гляделись. Как на приступ он пойдет, биться только для вида. А там – запалить всё – и тайным ходом в лес.

Ход опосля завалить горящими бревнами – смотри, чтобы легли ладно.

– Сделаю, княже.

– Сам с дружиной в Козельск придешь, как уляжется всё. Коней возьмешь. По двое-трое на конь. Шагом пойдете, коней не томя. Затаишься. Ударишь ночью с тыла, как он Козельск обложит. Ударил – и отошел. Ударил – и отошел. Наскоком, иначе не сдюжим.

Как подошли к Коломне, так сразу за надолбы и взялись.

– И лед перед надолбами от снега освободить вовсе – там кони скользить станут, не очень-то поскачешь.

– Сделаем, княже.

Везде князь Роман был, везде успевал. Великий князь владимирский Юрий Всеволодович воеводу своего Еремея Глебовича прислал соглядеть, чтоб на месте усмотрел, идут ли батыевы рати на Коломну и того далее.

– Идут! – сказал ему князь Роман, – Два дня у нас на всё. Если не веришь, вышли по нашим следам до Рязани охотников – они на рать ханскую и наткнутся. Ежели он нас тут побьет, то не останются – на Владимир ему дорога пуста. Думай сам, Еремей Глебович, не неволю. Но смотри, не прогадай. Москвичи полк уже прислали – они на своей реке встанут, на том берегу и поперек реку возьмут – и там надолбы на льду поставим, перегородим хану путь вверх по реке. Обойти он нас захочет – на москвичей напорется. И окружить нас не получится – на берегу снег для

коней глубокий, не пройдут они, увязнут. А мы сначала за надолбы выйдем, отступим для вида. Покажем, что на реке бой хотим принять, а потом скоро отступим за надолбы – ханское воинство промчится вдоль фронта нашего, а у Коломны на реке им путь и перегордим. А как набьется их в ловушку, что не пошевелиться, перекроем им путь и сзади. Вот тогда и посмотрим: кто кого. Как мыслишь, Еремей Глебович, пойдет хан в капкан или же раскусит нас?

– Что помешает хану сразу с левого крыла на нас напасть?

– Надолбы. Установим их там так, чтоб сразу заметны не были. Да и хан не глуп – если слева мы открыты, значит там и подвох. Промчится он вдоль строя и захочет обойти нас справа, а мы ему тем временем вход-то и закроем вместе с выходом.

Поверил воевода Еремей князю Роману, что можно одолеть Батыя в открытом бою и в ловушку для него поверил, и помчался за помощью во Владимир. Дал князь владимирский свою дружину с сыном своим княжичем Всеволодом.

– Идут! Идут! – был клич русским воинам о приближении ханского войска.

– Помоги нам, Богородица, – прошептал князь Роман, преклонил он колено, стал молиться истово. На него глядячи, опустилась на колено и вся рать. Встал князь Роман – встала рать.

– Идут!

– И хорошо, – крикнул князь Роман, – встретим их, русичи!

Криком громким ответили ему дружины и выступили за надолбы.

И встретились две рати у левого берега реки, что у Коломны. Увидели воины хана дружины русские, стали на скаку стрелами сыпать, вдоль строя мчась. Прикрылись дружины щитами и отступили русичи за надолбы, отошли так быстро, чтоб то на бегство было более похоже. А воины хана восприняли то, как и задумано было, что дрогнули русичи. И окружить воины Батыя русичей вздумали, на охват пошли, да у Коломны реку им и перегородили москвичи – напоролись тумены на надолбы, что поперек реки ставлены, а потом и вход им закрыли – как отхлынули русичи поначалу за надолбы, так и назад еще шибче и хлынули.

Но вот только дрогнули московские полки – почудилось им бегство рязанских и коломенских дружин – сначала кто-то, а потом и вся московская рать тесниться стала да и оборотилась во бег, а за ними и княжич Всеволод, князя владимирского сын, душой ослабел да и бросился с конными дружинниками на прорыв, оставляя на съедение орде пеших своих ратников. И только дружины рязанские и коломенские сделали, что задумано было: раздвинули надолбы в условном месте, да и пошли туда на прорыв всей массой конной. Москвичи и владимирцы бежали вверх по реке, а вот рязанцы и коломенцы пошли вниз. На пути у них тумен сына самого Чингисхана – хана Кюлькана – встал. Зажат тумен был – не шелохнуться, вот он весь и полег под мечами русичей,

все десять тысяч за минуты счетные – те рубили и рубили, пока последний не пал воин батыев. Пробился князь Роман с дружиной и ушел вниз по реке. Пешие его дружинники вернулись же в Коломну, и там всё случилось потом так, как и говаривал князь Роман – запалили городище, а сами ушли тайным ходом в лес, на заимку.

Уж второй раз опосля Рязани русичи поделили тумены Батыя – одни ушли за москвичами и владимирцами, а часть ушла по следу дружины князя Романа.

Батый

Проклятые урусы. Поход на Русь простым казался. Соглядатаи доносили о богатстве городов урусов да о слабости их стен. Всё не так. Богатство своё жгут, зерно жгут, и сами в огонь бросаются, по лесам разбегаются, а как мы уходим – города опять встают из пепла.

Что скажет орда? Зачем шли? Что взяли? Урусы – народ стойкий. Князья их грызутся, аки псы, а как перестанут грызться, так и пойдут на орду. Железными урусов не только за доспехи кличут. С одного удара воина надвое рубят. Орда только стрелами сильна – издали осыпает, но у Коломны они бревна в лед вморозили – и кони не прошли.

В ловушку заманили и тумен Кюлькана вырубали весь. Что скажут чингизиды? В Коломне зерно не взяли – пожгли они всё. Если б подмога их не бежала, так и всю орду взяли бы. Кто полководец был? Где его искать? Те, что к Москве и к

Владимиру бежали – среди них полководца нет. Бегут трусы, недостойные жизни, а этот ушел, изведя весь тумен. Значит, к Козельску пошел.

Такие люди нужны мне – хану орды. Эти люди битвы стоят.

Урусы закона не ведают. Подлость, предательство – за то смерть. За убийство послов – смерть. Кто правду не говорит – языка не достоин. Кто правду не видит – глаз не достоин. Кто смерти не боится, только тот достоин жизни. Договор подписал – жизнью поклялся.

Вероломство кругом. Вероломство у урусов, вероломство в орде. Этот поход против кипчаков, а берем и жжем города урусов. Что потом? Мне они союзниками нужны, а они десятины не дают, и я их в котлах варю и жиром их стрелы горючие питаю. Когда между ордой и Русью союз будет? Никогда? Так и власть моя тем кончится – не простят мне чингизиды, я среди них чужой – всего лишь сын сына Чингисхана, который пошел против своего отца. Силы орды тают. Зерна нет. Коней битых едим – скоро и их не будет – все падут. Куда идти? Москва, Владимир? Что еще? Козельск. Полководец тот нужен. Мир с ним нужен, мир с Русью нужен. Очень. Орде нужен мир, а его нет. Будет ли он? Не ведаю. На Козельск три тумена пошлю. Лучше четыре. Пусть найдут полководца.

Торжок

Ой ли, ой, пел и пой.

Пой о времени былом, седовласый гуслир, слабы очи твои стали на то, что вблизи – всё вдаль да вдаль норовят кинуть свой взор, и чувствует всё еще сердце твоё неостылое боль человеческую.

Мал Торжок – с твой вершок.

О городишке ли этом за глухим частоколом речь свою поведем?

О нем, о Торжке, о земле его, что кровушкой полита весьма, о скорби вековой, что не утихнет с годами, о чести и бесчестии, о совести и о гордости.

Опосля Владимира Батый с четырьмя туменами да с обозами, Тверь ничком положив, на Великий Новгород идти вознамерился, по замершей Тверце потянулся, да на пути его встал Торжок на высоком своем холме – река с трех сторон, да ров с мостом вздыбленным, да валы округ о пяти сажень, а то и поболее.

С той поры, как князь Юрий руки свои долгие ко Торжку-то протянул да разорил пристанище, новгородцы его возродили, укрепили, да и сторожищем своим сделали – вот и пригодился он супротив хана.

А особого гарнизона в Торжке не было – всего-то ничего да посадские, да вот только на сходе решили встретить хана, да за подмогой в Новгород послать, а самим стоять, потому как бежать-то особо некуда – дичь округ на сколько ни кинь глазу.

Да и сын новгородского воеводы, Иванко, что от Киева с товарами отвернул, от Батые уходя, до Торжка добрался и уверовал всех, что помощь будет – надо бы только не дать хану в Новгород

пройти. Послали они гонцов, а сами – хана встречать вознамерились.

И прилетели гонцы в Новгород.

– Батый на Новгород идет! К Торжку подошел! Торжок подмогу просит!

– Дадим ли?

То решал в Новгороде сход вечевой, князем там Александр сидел, но это дело решал не он.

– А зачем силенки дробить, ежели он всё одно на Новгород норовится?

– А затем, чтоб задержать его в Торжке до оттепели – а потом по болотам с обозами тяжкими попробуй к нам сунься!

– А кто сказал, что Торжок устоит, пока мы подмогу наладим? Зря только людишек измотаем!

– Надо Торжку помочь!

– Молчи! Он Владимир за три дня положил, а Торжок, что твой сморчок, – за раз раздавит!

Вот как шумел сход в Великом Новом городе, пока слово не взял воевода.

И сказал воевода:

– Я поболе всех вас тут сердцем горю – сын мой там, Иванко. Но воевода на то и воевода, чтоб думать о деле ратном, а не стенать понапраслину о кровушке родимой. Думать надо холодом, а не пламенем. Мой ответ: Торжок на то и нужен был, чтоб удар принять, как и долг велит. И сын мой – воин, а воин сам за землю свою встает – ему подпорки не потребны. Сам встал – сам пал. Верно сказано тут было, что пошлем подмогу, а Батый

раньше Торжок в кольцо возьмет. И где она будет та подмога? Положит он ее, а нам тут каждый человек на вес золота. Моё слово – не давать подмоги, сами в Торжке справятся, а не справятся – на то воля божья.

Не утихал сход, к князю Александру обратился:

– Что ты скажешь, княже, тебе видней с высоты твоей?

И сказал князь Александр по прозванию Невский, весь сход взглядом своим орлиным окинув:

– Князь вам не указ, Господин Великий Новгород. Не так ли? Сами решаете, и, сдается мне, всё вы уже решили, а вот на меня своё решение возложить вознамерились. Нехорошо то! Не по совести! Но коли уж от меня хотите услышать слово, то скажу, как думаю: сила идет большая. У Батыя четыре тумена под руками и еще шесть он легко сгребет по дороге. И катапульты у него имеются. Так что впору молиться Пресвятой Богородице. Сердцем молиться. Вот и молитесь. А мне, князю вашему, впору думу думать, а воеводе – об отпоре печалиться да запасы считать – от стрелы и меча с топором до люда под них. Поздно к Торжку идти! Чему быть, того не миновать. Вкруг он возьмет Торжок с ходу. Но Торжок хоть и мал, но просто так не дастся – был я там, хорошо он сработан, а вот подмога не успеет – Батый уже у ворот Торжка, пока мы тут разговоры разговариваем – пропадет подмога зазря.

На том и решили.

Потом воевода к князю Александру подошел и спросил:

– А ты, княже, с Батыем, никак, мириться готов?

Князь Александр посмотрел на него строго и проговорил вполголоса:

– Батый Русь разорил. Всюду пепелища. И множить их – ума лишиться. Он половину моей родни в расход пустил, и не мне ли за то на него злобу таить. Но дума моя не о злобе и не о родне, а о Руси. С Запада латиняне с тефтонами. Папа Римский обещает помочь в борьбе с Ордой, ежели веру сменим, но обещания его соломы не стоят. Нами хочет с Ордой сражаться, истребив до конца и без того уж битое, чтоб потом под себя взять землю русскую с теми, что на ней останутся и из нор своих повылезут. Папе веры нет. А вот хан поймет скоро, что в союзниках мы ему дороже, чем в данниках – о том мысли мои. В борьбе с латинянами на Орду опереться хочу и Русь тем отстоять. О жизни Руси речь. Выбор у нас невелик. Латинян насквозь зрю. Для них Русь, что конь шалый – не жаль, лишь бы донес, а там падет – не велика потеря.

– А ну, как хан до Новгорода дотянется? Выйдешь навстречу с дарами или же с мечом?

– С дарами навстречу хану вперед меня ваши богатеи побегут. Откупятся – не оскуднеют.

А моё дело, чтоб стоял не Новгород, не Торжок, но Русь и вера. Орда не навсегда – перегрызутся меж собой ханы за куски сытные, как и наши князья. Но пока Орда есть, не она, а мы от союза с ней

пользу иметь должны. Не Орда, но Русь – вечно стоять должна и будет стоять – за то кровью моё сердце и обливается. Так вижу.

А в Торжке посадские у Иванки всё пытали:

– Где подмога?

– Будет. Однако нам самим хана встречать – от нас та встреча зависит, не от подмоги.

Ободрил всех посадник Иванко ответом таким, и взялись они за дело – топоры точить, мечи, ножи, стрелы считать, луки налаживать, да стены и валы водой обливать – чтоб обмерзло всё.

А уж что там сам Иванко о подмоге той про себя думал – про то никто не ведает, да только мнится мне, что всё-то Иванко понимал – даром, что молодой, молоко не обсохло. Понимал, что не будет подмоги – вот только людям про то сказать-то не посмел.

И понимал Иванко, что Торжок хану, что кость в горло, и от того, сколько Торжок продержится, зависеть будет: стоять ли на земле Новограду.

И хан подошел, сдачи Торжка потребовал, на что торжковцы ответили ему так: «Накося выкуся» – были там молодцы веселые, но скоро не до смеха им стало – первый тумен на штурм двинулся – десять тысяч на стены полезли.

– Бей! – неслось со всех сторон, и били – смолу горящую на головы лили, рубили, резали, стрелы пускали.

– Десятников и сотников бей в первую голову!

И били. Десятников и сотников – как замечали их, так и били – как не бить.

И мост свой пожгли, и все древа, что в ров хан накидал – всё пожгли.

И крик стоял великий – живьем же друг дружку резали.

Хан думал враз Торжок взять – однако откатился. В иной раз на стены полез – опять в откат. Потом еще и еще – и всё без толку – по крутому берегу, да по льду – не налазаешься.

Три дня хан на стены лез без продыха, потом встал.

– Катапульти налаживает. Камнями забросает!

– А ты рот не разевай – глядишь и не влетит.

В затишье старшой над посадскими, Антип, к посаднику Иванко подошел:

– Так, говоришь, подмога нам выйдет?

Посмотрел на него Иванко исподлобья и отвечал:

– А ты когда с лютой вражиной злее бьешься: когда есть надежда или же когда ее нет?

– С надеждой-то полегче будет.

– Полегче... а без нее – злее. Так ведь?

– Выходит, ты и сам в нее не веришь? В подмогу-то?

– Выходит, не верю. Верить в бога надобно. А еще – в себя. В себя верю. Я на поклон к хану не выйду. А ты как?

– Вот так бы сразу и сказал – не будет подмоги – и сразу веселее стало.

– Вот и бейся весело! Невеселые долго не топчутся. Мрут невеселые. А веселые да злые – живут во всю силушку.

– Что делать-то будем? Он камнями закидает – ров-то всё одно завалит, да к стенам вплотную подойдет.

– На то у него неделя.

– За пару дней управится.

– А как управится, так и мы что-то придумаем.

– Что?

– Мало нас. Как камнями стену проломит, так со всех сторон Торжок запылать должен – запалим мы его. Ханские прихвостни как вломятся к нам, так за добром нашим и полезут – мы им в тот момент ни к чему – вот тут их огонь и встретит.

– И дым! И стрелы с огнем!

– И дым, и стрелы. А в дыму ничего не видать. Дыму бы поболее надобно. Сделаем?

– Чего ж не сделать-то? Ну, а мы-то как?

– А мы, как запалим избы, сквозь дым на прорыв-то и двинемся – в дыму уходить легче. Терять мне нечего. Жен с детьми в середку и со всех сторон – кто останется. Уйдем – наше счастье. Не уйдем – побольше с собой поганных утянем.

Так и случилось. Как хан стены камнями проломил – запылал Торжок со всех сторон – вот ханские волки, друг дружку отпихивая, и бросились в горящие избы добро выносить – шибко они до него охочи были.

А дыму было – не продохнуть. Вот через дым тот и прорвались торжковские сквозь толпу жадную и уходить стали. Сначала-то за ними погоню не наладили – грабеж всё затмил. А как наладили – поздно, кто мог – ушел, не достать.

Защитничков-то горсть была – ушли многие.

Две недели Торжок стоял.

А хану пепелище досталось – и ничего более – и назвал он Торжок «злым городом».

А Торжок потом восстал из пепла – как не восстать.

Вот так предки наши и бились с ворогом – всем миром и каждый сам по себе.

А когда каждый сам по себе, то хоть и один – со всем миром.

А на Новгород хан не пошел.

Отвернул хан.

Козельск

То не зорька ясная занимается, то не солнышко красное загорается – то отблески пожара жарких восстают перед очами, как только о Козельске сказ начинается.

Как там в преданиях-то было? «И поднялся Козельск на злобу Батыеву» – вот оно как, поднялся, значит.

Шелест листвы – он в ушах стоит и откуда листва-то зимой в снегах? Привиделось наяву.

Князь Роман едва из седла не выпал – сморило, трое суток не спавши. Склонившись на ходу к земле, он, потянувшись, захватил с нее снега да и разогнал его по лицу – дабы в разумение войти.

Отходили от Коломны в три ряда. Конных – не более сотни, да пеших столько же взяли в седло – всё, что есть, все «козлята» – из Козельска люд.

Воевода козельский – Сбыня – говорил давеча: «Даю тебе, княже, своих козлят только на срок недолгий, вернешь после Коломны – тут нужны!»

– Как же то, – удивился тогда князь Роман, – на хвосте Батыя приведем на Козельск!

Воевода с ответом не спешил, посмотрел в глаза внимательно.

– Всё одно – придет, – отвечал нехотя, – как не прийти. Хоть и есть обозы, да по полям давно всё размечено – зерно ему надобно. А про Козельск слышал он, что тут зерна закрома полны. Придет. Да и князь наш, Василько, хоть и двенадцати лет, а на сходе усовестил нас и сказал, чтоб мы бились с ханом.

– Как?

– Так. Сход был. Решали уйти или биться. Решили уйти, а князь Василько встал и сказал: «Уйдете – сам останусь. Буду один за землю свою стоять!» – и посрамлены мы были и ответствовали: «Мы с тобой, княже!»

Помолчал воевода и продолжил:

– Так ты и сам говаривал: хана бить можно и должно – только силы его делить, чтоб не навалился весь сразу.

– Смоленск откупился.

– Эти нам не указ. Откупиться можно, а как жить опосля? Сам-то чего ж не откупился? За ради чего в бой встрял? Самому, стало быть, можно, а мы, выходит, хвостами не вышли? Нет, князь Роман, не хотят дружиннички мои сраму

иметь. Стары мы – не про нас срам, как потом в очи божьи смотреть, как время придет? В бой тянутся. И посадские – тоже. И кожемяки имеются – те голыми руками порвут, да и плотничские есть, к топору весьма охочие. Вот и поглядим. А зерна туточки нет – вывезли мы зерно-то загодя, да и схоронили. А то, что есть, только до лета и хватит – а там и запалим, ежели что, но не сдадим нелюди. Хана честью встретим, приголубить его, окромя нас, видать, некому. С ним тут многим поквитаться охота, за Калку еще – старички-то мои там были – на обман тогда взял, как малых детушек.

– Так то не он.

– А... всё одно. Должок за ними. Пусть идет на нас.

– У него туменов десять – не менее.

– Ты ж говорил – рассеяны.

– Рассеяны – соберет. Он с обозами, а там «бараны» – стены бить.

– «Баранами» люди правят. Ежели выбьем люд, то где те твои «бараны»?

– У тебя на всё слово имеется.

– Думай о рати загодя – и у тебя слово появится. Веди хана – встретим.

– А жены как, дети?

– Говорено же: кто хотел – ушел, не неволили. Тут те, кто своей волей хана ждет. А детки у нас с пяти годков к ножичку приучены – впотьмах найдут, ежели что – попробуй, выйди супротив них, какие они тебе дети. А что до жен – так те

белку в глаз бьют. А для стрелы всё одно, в чей глаз влетать. Веди! Сказано!

Пурга началась – к месту она, следы сокроет, хотя он и так знает, куда идем. У хана чутье зверя. Вот как зверя его и надо брать.

У ворот Козельска были к ночи.

– Открывай!

– Кто там? – голос воеводы на стене – Ты ли, князь Роман?

– Я!

И ворота заскрипели. Часть коней внутрь завели, а частью – мимо погнали, дабы след был, что ушли.

– Отдохни, князь Роман!

В тепле только веки смежевались – сразу и сон, где присел. Вроде и не спал – а за плечо уж трясут.

– От Батыя первые у ворот трутся. Хочешь ли послушать?

И сейчас – рывком на ноги и к воротам.

Передовой отряд, «железные урусы» им нужны.

– Железные урусы есть?

– Ушли ночью, – отвечал им воевода со стены. – Тут только стар да млад.

– Открой ворота хану!

Ответом был смех. Смеялись все, что были на стенах – даже детки малые.

– Не гневайся! – сказал потом воевода, – Хану твоему веры нет. Он слово не держит. А наше слово такое: возьми ворота – и всё твое будет.

Стрелу пустили, ранили дитё малое, и им в ответ стрела прилетела – наповал сразила вопрошавшего.

Отошли батыевы воины за ров, и на их глазах козлята мост деревянный пожгли, смоляными пламенниками забросав. Опосля воевода велел воду носить и на стены и на ворота лить – пусть по льду карабкаются – небось когти-то у них имеются. Мороз знатный – быстро твердеет.

А чтоб стрелы не летели на стену, все щели прикрыли кряжами – бойниц только в них надевали. Стрелу через них пускать можно.

– Василиса у нас люта на эту нелюдь больно, – говорил воевода князю Роману, указывая на девицу на стене – у нее зря стрела не падает.

Та – краса статная, глазищи пол-лица залили – как раз бойницу опробовала. Вскрик – и еще один пал.

– Ничего не роняет попусту. У нас стрел – тьма-тьмущая, на двадцать туменов его хватит. Под ее началом целый выводок – таких лучниц еще поискать. Эта челядь поганая на стены сейчас не пойдет – хана своего дожидаться станут, а то и ладно – и мы к встрече приноровимся.

Князю Василько князя Романа представили в тот же день.

– Славен буде, князь Василько.

– Славен буде, князь Роман.

– Всё ль у тебя ладно?

– Что ж тут ладного, коли меня на стену не берут?

– Негоже, князь... – встрял воевода.

– Негоже князю за спиной простого люда хорониться! – перебил его князь Василько.

– Князь Василько, – ответствовал князь Роман, – воевода за тебя ответ держит перед народом твоим. А ну, как стрелой достанут? Кто тогда за народ встанет? Ты вот, слышал я, среди прочих, на стене над ханскими посланцами потешался – разумно ли то?

Набычился князь Василько, губы надул, молчит...

– Даешь ли слово, князь Василько, что за стену, бить ханских псов, не утечешь?

– Даю... – сказал со вздохом.

Хан подошел через три дня. Ров сразу начали забрасывать деревьями, ветками, землей – полон для того привели. Хан ждал, пока ров засыплют, потом «баранов»¹ подвели – стены бить. – Открой хану!

– Сейчас, только стрелу налажу!

Стрела до хана не долетела – знал, где встать, волчара конская, чтоб не тронула.

Только «баранов» наладили, так всю прислугу и перепортили – «Новых несите!»

В ту же ночь со стен охотнички спустились, да и ремни на «баранах» все изрезали – «И «баранов» новых давай!» – хохот со стен.

Батый лицом каменный сделался – ни один мускул не дрогнул, а ночью ему и ветки с деревом подожгли, что в ров накидали – дегтем измазали в ночи и запалили.

¹ «Бараны» – стенобитные машины.

Теперь только землей ров закидывали – а она мерзлая – но на то полон не жалели. «Князь! – кричали невольные, – Бей нас стрелой! Пусть он сам землю роет!»

И били по полону – всё одно им погибель.

Ханские на стены полезли, да их скинули – смолу, кипяток – всё лили, не скупилась.

Впереди полон на стены гнали, да у самых стен полон тот поворотился да и голыми руками схватился с погаными – все они там полегли, а от стен Батыя откинули.

Хан виду не подал, что в ярости был.

А ночью со стен попускались козлятушки, да и с разных сторон обойдя, на спящих и навалились – кого побили, тому счет только с утра повели – сотни две полегло – не менее, а этих – ни одного, и не видел никто никого, только полночи ор стоял – не до сна было хану.

– Вот пусть и не спит, – говорил воевода, – спать мы ему не дадим – чай, не на праздник явился. Невдомек хану, что у него по ночам дети малые да старики по обозам шарят.

– Какие дети? – вскинулся князь Роман.

– А такие. Говорил же ранее. Аль, запомнать? Векша, выйди, покажись князю.

И вышел из окружения воеводы малец худощавый – смотреть не на что – полтора вершка.

– Вот он – Векшей все кличут. Он и ватага его – хоть с ножичком вострым управятся, хоть со стрелой скорой. И не видно его – глазом-то поверх скользят, а они у самой земли-матушки ужами вьются. А как возвращались, так и Васи-

лиса с бабоньками их стрелами своими и прикрыла.

– И всё-то у тебя продумано, воевода.

– Всё, да не всё. День на день не похож. Хан тебе не дурак. Его удивлять надобно.

И удивляли. Что ни ночь – то вылазка. Появлялись ниоткуда, пропадали в никуда, а что ни ночь – две сотни супротивничков клали, а то и поболее.

Князь Роман и на стенах был, и на вылазки ходил – ничем от дружинников не отличался, хоть воевода и отговаривал его, но горяч был князь Роман – не сдержать.

– А для чего я тебе здесь потребен, воевода, ответь?

– Горяч ты больно, князь Роман. Всех холодной голове учишь, а у самого с ней как? Князь здесь быть должен – голову сложить в ночной драке – не велик тот ум. И так людей ночами теряем. Ты здесь, на стене, за ним смотри, угадывай каждое томление.

– Чего ж гадать – он «бараны» новые ждет, а без них как на стены ледяные идти?

– Вот река вскрыется – со дня на день – и пустим мы реку вокруг наших стен – вот тогда пусть свои «бараны» везет – месяц вода не спадет.

– А хватит ли у тебя на то люду – не пускать его на стену?

– Стрелы не только он посылать сподоблен. И мы тоже на то весьма горазды.

И пустили реку вокруг городища – она все рвы затопила и то, что полон в ров набросал, снесла – снова засыпать надобно. Ханские собаки только

над рвом и работали – весь полон на него извели – хан на то взирал свирепо.

А время летело – что твоя стрела. И воинство ханское таяло под стенами, что твой снег под Ярилом, но и в Козельске что ни день, то утраты.

– Выдюжим ли?

– Должны выдюжить.

Хан полон казнил у всех на виду – за руки держали, да на куски резали, в кипятке живьем варил – всех, от мала до велика – детушек малых особливо.

Но всё попусту – разве что крепил он тем козлят в вере хана бить люто – сердцем всех ожесточил.

Посадские сами на ночные вылазки взыскивались – не оттащить – кожемяки руками голыми нечисть рвали – осерчали сверх всякой меры – хоть бы кто из поганных успел в их лапах пискнуть.

Бились – продыху никакого.

Князь Роман да воевода Сбыня с ног валились – чуть сел, там и в сон пропал, а спать-то некогда.

Князю Роману лучница Василиса более всех на сердце легла, но только она на него и не взглянет – знай себе стрелу прилаживает.

– Что ж так строга Василиса? – решил он у воеводы спросить, – Взгляд долу клонится – только цель для стрелы своей ищет и ни на что иное не зарится.

– От того не зарится, что вдовица она, как и иные молодницы. Пал муж ее в битве с ханскими молодцами – разъездом они тут были, рыскали.

Вот она и смерти ищет – грех то, но не мне ей в том перечить. От стрелы она не кроется, а как сама стрелу пустит – мимо та не ляжет. Томится она, печаль душу ест.

– Вот оно что.

– А тут, князь, все с утратами – тот зятя потерял иль свата, а кто – и отца с матерью. Тут все святой мстью давно питаны.

– Столько сил кладем да народа – а стоит ли?

– Ты никак сердцем смутился не ко времени, князь Роман? Пошто так? Сам же говорил, что Батыя бить можно и должно!

– Говорил!

– Ну, тогда и свободи сердце – пуцай возликует. Умереть – та еще работёнка – перед смертью лицо своё явить перед Господом и людьми надобно, да так, чтоб над ханом душой воспарить и чтоб он не дотянулся – первейшая на то наша забота. Ей и служим. Смерть презрел и возрос – и не страшна она тебе, а вот хан смерти-то боится – ишь как от стрелы-то хоронится – мелок он, душой-то, как ни крути – и понял он мелочь свою и понял, что мы про мелочность души его ведаем – не простит он нам своего униженья.

– Поляжем все.

– В том сомнений нет. Смерти великой быть должно. Голова высоко и прямо, а за спиной – крылья.

– Верно... насчет крыльев...

– Вот это другой разговор, княже. Смежуй очито – минутка ж выдалась – вот и сомлей во сне, не думай о минувшем и об мишуре всяческой.

И сомлел князь Роман.

А хан своих павших жечь начал, дабы в смраду не быть – кострища развел повсюду, да и нет-нет – постреливали горящими стрелами в стену – но она льдом еще покрыта была – пустое то.

– Ишь, костры-то запалил.

– А когда битые везде лежат, так и живым смущение выходит – вот он и прибирается. Чай, за потери-то в Орде по головке его не погладят – вот он в огонь пададь свою и кидает – чтоб без счета была.

– И то верно.

Князя Василько как-то ночью за стену понесло, в вылазку – тайно утёк. Воевода узнал – всем попало, а князю – особенно.

– Князь Василько, – укорял он, – ты ж слово давал, что не утечешь за стену.

– Давал...

– Что ж так-то? Не сдержал, выходит, ты слова княжеского?

– Виновен в том, дядько.

– Виновен он! Вот тебе и весь сказ! – всплеснул руками воевода, – Князь Роман, взялся бы ты учить князя Василько делам княжеским – пусть с тобой на стену ходит, обскажи ему: что да и как. Что воину должно, а что – князю можно. Христом богом тебя об том прошу!

– Хорошо. Обскажу.

И взялся князь Роман учить князя Василько всяческим княжеским премудростям – что князю можно, да что князю должно – с той поры вместе они везде – хоть на стене, хоть под стеной.

Голова-то князю не для того дадена, чтоб он ее в первых рядах воинов своих складывал, а для того, чтоб об народе, да об воинах своих думу думал – денно и ночью.

А ловко воевода Сбыня их обоих утихомирил, чтоб головы княжьи, горячие, что твои угли, от беды неминуемой сберечь – он довольный потом, на них глядячи, в бороду свою усмехался только.

Батый ел мало – настоящий воин должен быть в еде воздержан, но здесь, у стен этого треклятого города, он почти совсем не ел и не спал. Может, город этот хранят злые духи? Среди воинов ропот шел – воины недовольны были, все потуги на стены заканчиваются одинаково – павших горы, которые потом надо жечь. Урусы сделаны из железа? Кто такой этот князь Василько? Его железные урусы стоят насмерть. Кажется, им нет числа. Если не подойдет подмога, воины восстанут против своего хана. Что скажут в Орде? Что скажут чингизиды?

Вот оно как, ворон, смерти подручный, выходит.

Умом ворон объять всё пытается, да не всё уму его подвластно. Не понять ворону смысла в доблести, не постичь ворону душу необъятную.

Накаты ханской нечисти на стены не стихали – бились и бились, да только всякий раз откатывались назад ни с чем. Таяло воинство батыево, да и защитнички таяли – второй уж месяц осады шел – весна в свои права совсем вступила.

И те, и другие ждали, что подмога Батью подойдет – и подошла она – подошли войска Кадана и Бури и с ними машины для битья стен, и сами стены к тому времени подсохли, и снег сошел, и река на спад пошла.

– Подмога поганому вышла.

– Вышла.

– И что теперь, князь Роман?

– Последняя битва у нас выходит, воевода.

– Еще удивим хана? – спросил Сбыня, чуть помолчав.

– Удивим. Надолго запомнит и детям своим завещает помнить о нас.

– Что у тебя на уме?

– Сейчас обскажу. Надо сделать так... разберем несколько изб – бревна потребны.

– А... ишь ты. Понял я. Это ты ж столбы у Коломны во льду морозил?

– Я морозил.

– А мы те бревна от изб в землю поглубже вроем. Так?

– Так.

Князь Роман посмотрел на воеводу внимательно и усмехнулся, сказав:

– И если он ворота наши вскрыет...

– То с этой стороны его встретит частокол...

– А частокол тот мы поставим так, что меж бревен только боком втиснуться можно было, чтоб он его сгоряча не рушил, чтоб казалось бы ему, что он втиснуться сможет... бочком...

– Вот он и втиснется бочком, а ты ему тот бочок и плечико мечом-то и посеки... свалку мы ему знатную устроим! – даже взором воевода посветлел.

– Или стрелой, пока втискивается.

– Или стрелой – он потом через мертвых продираться должен будет. А еще щепы наземь накидай, смолой облей...

– Да и огнем запали...

– Ох, и займется. А столбы бы я водой облил, чтоб не горели сразу.

– А еще бы с тыла вдарить.

– А кто мешает? Со стены сзади спустись, обойди да и вдарь – хоть с тыла, хоть с боку.

– Вот тебе и смерть верная.

– Верней не бывает.

На том и порешили. Сказано – сделано, разобрали избы на бревна да столбов наделали – и столбы те в землю, как и говорено, врыли глубоко-конько и стали хана поджидать.

А хан – вот он – тут как туточки – в ворота ломился – ему «баранов» свежих подвезли.

Сеча была – как по-писанному – знатная, ой, зла как зла.

Ворота-то они взломали через два дня, положив под ними воинство своё крутой грудой, а как вскрыли ворота, так частокол их и встретил.

А как втискивались меж бревен, так их и секли – крови было – что твои реки по земле пошли. Кто прорвался – того в ножи, а кожейки руками, как котят, давили – смертный шел бой.

Было ли то, либо не было – разное потом говорили.

Говорили, что девоньки детишек-то своих, малых, сами по горлам взрезали, чтоб никому не достались на поругание, сказав только им: «Не бойся, дитятко милое, мамочка твоя сейчас к тебе придет» – да с ножами-то, с одними, и пошли на бой с нелюдью – да и полегли все, сердешные.

И щепу запалили, и избы, и горели батыевы насильнички заживо – только вой великий один стоял.

А сзади, со стены спустились охотнички, да и вдарили Батыю в спину, опрокинув в ворота, и побежал Батый, ох, как он побежал, а потом развернулся, да и вернулся, и пошла сеча кровавая, будто заново.

– Князь Роман! – вскричал воевода, – Уводи! Уводи князя Василько, пока драка идет! Уводи! Со стены сзади спуститесь! Там на речке ладьи! В камышах! Он укажет где!

И спустился было князь Роман да и с князем Василько со стены, что позади, и уйти могли бы, наверное, да вот только князь Василько остановился и сказал:

– Не побегу я, князь Роман, за спиной своего народа – вот и весь сказ! Как ты хочешь – а я не побегу! – и вступили они тогда с князем Романом в бой последний свой плечом к плечу, стар и млад, со народом своим, и погибли тогда все – и они, и кто был с ними.

Ой, ты, земля русская – холмы высокие да овраги глубокие, реки полные да небеса светлые – примите вы воинов своих павших, любезных своих защитничков, души их светлые примите, что напоследок облетят всё тут округ, прощеваясь, и отправятся они опосля к порогу божьему, к рассуждению его – кто виноват, а кто прав.

Правда русская, прими ты сказ о Козельске-городе или, как говаривали в прошлые времена, о Козел-лесе, что означает, вроде как, неприступный – воспетом и невоспетом, сохраненном и не слишком в людской памяти – да было бы кому о нем вспоминать.

Разорил Батый город – раскатал по бревнышку да и сжег, что еще можно было.

Ничего не взял, даже копытца козлиного – не было ничего.

Повелел он, опосля, отыскать ему всех железных урусов – сосчитать их всех по головам вознамерился.

И сосчитали ему их – головы от туловищ отняв – менее трех сотен вышло – а жен, да детей, да посадских не считал по тем временам никто.

Нашли тогда живым еще воеводу Сбыню – обгорел он только сильно.

И поставили его пред Батыем, и спросил его хан: «Где князь Василько – видеть его желаю!»

И сказал ему воевода: «Раз желаешь, то скажу тебе одному: пал князь Василько. Захлебнулся он в твоей крови!»

И стал хан, в коей раз за всё время, лицом своим дик.

И сказал тогда хан: «Злой город! Злой!»

И повелел тогда хан истребить всех и вся, кто остался еще, и место сие солью просыпать – чтобы ни одно семя через соль ту не взошло, не взросло, чтоб ни крошечки – чтоб не восстал ни люд, ни град.

И повелел тогда хан считать потери свои числом четыре тысячи – чтоб не более и не менее – чтоб – ни-ни, потому как срам один на его серебру головушку.

А уж сколько там от его воинства полегло тысяч – двадцать или же сорок – про то разное слыхивали.

Не пошел хан далее землю русскую разорять – отяжелел он сердцем своим, за половцами он пошел.

А Козельск восстал опосля – не мог не восстать, должен был!

Вот такая была история.

Может, и выдумка она, не перечу, да только уж больно хороша та выдумка, по нраву она мне.

И вот стою я перед городом, перед Козельском – и ведь века прошли вечные, а будто и вчера была битва та – рать на рать – за честь, за достоинство за русское, и чудятся мне всюду голоса человечьи – то ли воеводы с князем Романом, то ли князя Василько – и на душе от того, ой как бережно.

И вижу я тогда сквозь листву деревьев очи ясные, очи строгие, что пол-лица залили красы-девицы Василисушки.

Взлетная полоса

И выпал снег, густой
февральский снег.
Затейливо прилёг на
подоконник,
Что рыхлое седло на спину
пони,
Что путник, заглянувший
на ночлег.

И стынет день, налипнув
на стекло,
И вот уже становится
вчерашним,
А чайный след вдоль стен
отпитой чаши,
Как вкрут луны туманное гало.

Так хочется смотреть на этот
след
И, как в чайнворде, подбирать
ответы:
На чьих перстах вращаются
планеты?
И вечно ли вращение планет?
Возможна ль жизнь вне тела,
вне лица?
Как бестелесным распознать
друг друга?..



Элина
ЛАУТИНА

Поэзия



А стрелки на часах спешат по кругу,
И день, и ночь, и снег, и дождь по кругу,
Мир и немир вращаются по кругу,
Друг друга заменяя без конца!

Не навсегда

И октябрь не бессмертен, увы!
Отзвучит, как молитва поминок,
Над сиреневым сном сентябринок
Медь и охра слетевший листвы.

Над прохожими в мрачных пальто
Завиднеется небо иначе:
Побледнеет, по-бабьи заплачет,
Да по ком – не промолвит никто.

Что той жизни? – черта между дат,
Перешеек от «ныне» до «присно».
Пусть октябрь временами капризный,
Он уйдёт, как уходит солдат,

Не оставив сомнений следа,
Сантименты стянув портупеей –
И я даже шепнуть не успею:
«Боже, только бы не на...»

Ни солнца, ни луны, лишь небо в сером
И ветки с облетающей листвой –
У осени такое естество.
На провод между крыш голубка села.

Ты смотришь на пернатую с балкона,
А взглядом точно просишь: «Посиди!..» –
И вот она застыла посреди
Немых домов и лиственного звона.

И, кажется, не колыхнется вовсе,
Не обернётся, не спугнётся, не...
И видится в сентябрьском жёлтом дне
Жар-птицею на Палехском подносе.

И всё как будто замерло, но нет, ведь –
Ей ветер треплет перышко в хвосте...
Какое чудо оказаться с тем,
Кто может хоть на миг твой день замедлить!

Удильщик

Светает над прудом. Удильщику не спится –
Затишье, даже травы не шуршат!
На старенький помост присела цапля – птица,
Выискивая юрких лягушат,

Поправила крыла, прижухла, как ручная,
Задумчиво глядит на водоем,
Где, словно в котелке, парит вода речная
И облаком плывёт за окаём.

И множится тепло, и теплится надежда,
Что рыбою заполнится садок,
И булькнет вдалеке, но над водой, как прежде,
Недвижимо алеет поплавок.

Ещё один заброс – и разольется солнце,
Станичные проснутся петухи,
И лакомый карась с крючка уды сорвется,
Удильщика оставив без ухи.

Осердится старик и матернётся сухо,
Но выдохнет, мол, жизнь не так плоха,
Ведь в доме у пруда любимая старуха
Готовит им к обеду петуха!

Последний день апреля

Весна не наступает, а сочится
Сквозь бледные прожилки на листе,
Сквозь завиток на кованом кресте
И треснувшую плитку у гробницы.

Сочится сквозь расщелину в заборе,
Сквозь глину и бетон сырых домов
И бронзовые солнца куполов.
А в час, когда с тобой о чём-то спорим,
И ветер чуть колышет край портьеры,
Она сочится тихо сквозь окно,
Лелеет в душах тёплое зерно
И воскрешает в нас любовь и веру.

И вот он ты, и день воспрявший – вот он!
(Казалось, благоденствуй и внимай)
Глядишь, а от весны остался май.
Всего-то май... Но сколько в нём всего-то!..

Вербное

На Вербное снова ветрено,
Ни облачка над околицей.
У храма – малец приветливый
И юная богомолица.
Стоят на пороге, крестятся –
Их жесты такие ладные.
До Пасхи страстная седмица,
И пахнет из храма ладаном.
И ты здесь рабой неверною –
Меж «истинных» и «желающих»,
Сжимаешь в ладонях вербную –
И чувствуешь, та жива ещё!

Малая Родина

Малая родина. Лето. Репейник с крапивою,
Запах малиновый манкий.
Расположившись под кроной раскидистой
ивовой,
Мама намылила банки.

Прямо из крана вода – говорлива и подвижна –
Струйка верёвочкой вьется.
И, словно мамины локоны, рыжее-рыжее
В тазе полощется солнце.

И хорошо на земле в этот час и надежно так!
Мама лет на «дцать» моложе.
Сквозь голубую листву на неё смотрит Боженька,
И на тебя, веришь, тоже.

Вот оно тихое счастье, воспетое книгами:
В запахе трав и опилок,
Выжечь для мамы на память поющую иволгу
(Мама не видела иволг),

И разбивать абрикосов корявые косточки
В мирном саду спозаранку,
И наблюдать, как из таза за горсточкой
горсточка
Солнце вливается в банку.

Муха зудит и несёт суетливые крылышки
От абрикосин к сиропу...
Несколько таких лет – и ты сам, словно
вызревший,
Срезанный зонтик укропа.

Мама закончит, тебе улыбнётся загадочно –
Банки заполнены светом!
Где бы найти экий ключ самый верный
закаточный,
Чтоб не напрасно всё это?..

Баба Вера

Старушка на подъём была легка.
В делах несуетлива и степенна,
Она сдувала пену с молока –
И кожа лба морщижилась, как пена.

Держала две коровы и козу.
И, кажется, не утомлялась даже,
В большом эмалированном тазу
Взбивая тесто, словно пух лебяжий.

Мы детворой по поводу и без
Гостили у соседки хлебосольной.
Вернуться бы под шиферный навес,
Отведать «ейных пирожков с фасолью»!

Какой бы срок не выгорел жаре,
И сколько б дней не снизошло дождливых,
В том выметенном начисто дворе
Плодили щедро персики и сливы.

Всех привечала: кошек и собак,
И в благости не различала меры.
Знать, имя не даётся просто так!..

Жаль, не было детей у бабы Веры.

ПОДАРОК

Рассказ

Илья быстрыми шагами пересекал улицу, откуда уже была видна серая стена школы, её окна в деревянных голубых рамах, клумбы, укрытые инеем.

Он был не на шутку взволнован. Его вгоняла в краску мысль о том, что сегодня он увидит Таню, которая болела и не появлялась в школе больше недели, а сегодня, возможно, выздоровела.

Как потерянный он проскользнул в калитку, затем в теплый холл, перескакивая ступеньки, влетел на второй этаж. Ну конечно, она уже в классе! Достала учебники, поправила волосы, пошептала с подругой.

– Дорогие наши парни! – прогремела вошедшая в класс учительница Лидия Петровна. – Сегодня после шестого



**Мария
ЛАБУНЬКО**

Проза



урока мы не разбегаемся, а все остаемся здесь. Вас будут поздравлять девочки!

Уроки тянулись дольше обычного. Наконец прозвенел последний звонок. Девчонки засуетились, захлопотали. Вскоре выстроились в линию у расписанной цветным мелом доски.

«С днём Защитника Отечес...» – прочитал Илья поздравление. Таня стояла, заслонив своей золотистой макушкой последние буквы. Раскинутые по плечам волосы напоминали теплый свет солнца, который освещал всё её лицо.

– Все сели? – на всякий случай, спросила Лидия Петровна. – Итак, дорогие наши парни, будьте мужественными и твёрдо идите к своим целям! Радуйте своими успехами родителей и учителей, а девчонкам будьте опорой и верными друзьями. Будьте настоящими защитниками нашей страны!

Ну а дальше каждая из девочек читала со своей шпаргалки добрые, но достаточно общие фразы про упорство, доблесть и всё остальное, что красит мужчину. Илья не спускал глаз с милого, улыбчивого лица.

– Мы желаем вам быть смелыми, отважными и сильными! Пусть в жизни вы не робеете, а всегда идете вперед с уверенностью в своих силах! – громко и взволнованно произнесла Таня.

«Это обращение ко мне», – подумал Илья.

После хлопков, громогласных «спасибо» и общего говора начались конкурсы. Илья был в ударе! В «Угадай мелодию» он выбил 5 из 5 баллов, потому что «Катюша», «В землянке», «Синий платочек» и другие фронтовые песни были ему знакомы благодаря деду. В «Зашифрованном тексте» он с лёгкостью разгадал все ребусы, так как с четвертого класса создавал их сам. Только в «Попади в цель» он не оказался виртуозным стрелком: стоя спиной в пяти шагах от коробка, два раза промазал.

Таня с улыбкой поздравляла победителя после каждого конкурса, крепко пожимая руку. Тонкие пальчики были удивительно сильными, колечко вдавливалось в ладонь Ильи. Два крепких рукопожатия, две улыбки, два слова «Ты молодец!». Илья получил за каждый выигранный конкурс какие-то безделушки. Их ему подносила Ритка.

Перешли к чаепитию. Столы сдвинули в один общий, на скатерти появились вкусности: рулеты, печенья, конфеты.

Уже начали рассаживаться, а Илья всё мялся, ждал, когда первой сядет Таня, чтобы сесть поближе к ней. Но вдруг Таня попросила, глядя в сторону:

– Лёша, садись рядом со мной, а Ксюша – с другой стороны.

Лёшка повиновался. Сел почти вплотную, бросил шутку, от которой она залилась смехом, потом улыбнулся и.... подмигнул.

– А это подарок тебе. С праздником! – Таня протянула красавчику свой цветастый пакет.

Илье не верилось в то, что произошло. Это был обман слуха и зрения, не иначе. Таня не могла так поступить с ним, не могла...

Он первым ушел с праздника.

Сердцу не прикажешь.

Таня улыбалась Леше, болтала с ним на переменах, вместе они возвращались из школы, а Илью, будто не замечала, только снисходительно улыбалась. Но ему отчаянно казалось, что таким образом она хочет проверить подлинность его чувства. Каждый раз, сталкиваясь с ней глазами, он как бы спрашивал: «Ты играешь со мной?», но в них таился безответный холодок.

Как-то после уроков Илья, вместо того чтобы вернуться домой, поплёлся за Таней. Ступал медленно, отставая на добрых пятьдесят метров. На этот раз она шла с Ксюшей, весело размахивая спортивной сумкой, временами оборачиваясь и что-то со смешками рассказывая подруге.

А Илье почему-то было радостно просто идти к её дому, дышать весенней свежестью улицы, запоминать её походку, наблюдать за ее жестами.

Так продолжалось ровно три дня, на четвертый – он подрался.

Лешка внезапно набросился на него, разорвав куртку и оторвав карман рубашки. Руки и ноги нанесли точные и сильные удары. Недаром он занимался в секции карате.

– Если ты будешь преследовать Таньку, я тебе под каждый глаз по фингалу поставлю. Понял, очконавт?! – в бешенстве предупредил Лёшка.

Мир расплывался, превращался в разноцветные облака, причудливые стены, нечеткие деревья. Илья нащупал рукой очки, которые слетели с него в первую минуту драки. Повезло – ни одна линза не треснула, только погнулась правая дужка, но это было мелочью по сравнению с самим нападением.

– Ты что?! – встав с колен, закричал он. – Со спины?! Слабак!

Дёмин подошёл так, что соприкоснулись лбами.

– Меня хорошо слышно?! Ты. К ней. Больше. Не. Подходишь, – по словам выдавил Лешка. – Увижу ещё раз – пожалеешь!

– Вы чего?! Мальчики! – на бегу скидывая рюкзак, остановила их одноклассница Рита. – Нашли место для драки, посередине улицы! Хорошо не в школьном дворе!

– Рита, не лезь в мужские разборки! – огрызнулся Лёшка.

– Ума у обоих нет! – строго говорила она, заглядывая в их лица. – Мне неважно, что вы не

поделили, просто сейчас же прекратите это или я закричу так, что сюда сбегутся люди!

Сиреневый рюкзачок местами намок от того, что провалился на снегу, пока Рита разнимала подростков. Она ловко подхватила его за лямку, перекинула через плечо, стряхнув белые комья.

– Это он тебя из-за Таньки? – спросила она Илью, понуро шедшего рядом.

Вместо ответа Илья вдруг поинтересовался:

– А нам разве по пути?

– Я живу через улицу от тебя. А ты не знал?

– У-у, – прогудел парень. – Видел тебя тут вроде, но это было давно.

– По утрам я раньше в школу выхожу, а после уроков – на кружки. А ты постоянно в телефоне сидишь! – с лёгким укором Рита взглянула на Илью.

Её разжалобил сам вид этого неудачного вояки, который не убирал руки с синеющего пятна на щеке.

– Сильно болит?

– До свадьбы заживёт.

Рита засмеялась, Илья натянул улыбку.

– Это как? – растерянно спросила мама, увидев Илью в прихожке. – Это... кто?

– Это я, мам, – ему захотелось разрядить обстановку. – Илья, твой старший сын.

– И он пришёл с синяком на пол-лица? – она кинулась к холодильнику за льдом.

– Было дело под Полтавой....

– Вижу. Из-за чего или кого дрался?

Решил, что скрывать бессмысленно.

– Из-за девчонки.

Мама вздохнула.

– Всё стало понятно, когда я за тобой сердечки на стёклах стала вытирать.

Она приложила холодный компресс к его распухшей щеке, снова перевела дыхание.

– Скажи, мне стоит серьёзно волноваться по этому поводу? Я могу тебе доверять?

Он благодарно улыбнулся, оценив то, что мама не бежит судорожно набирать директора, классного руководителя и всех причастных, а даёт возможность ему самому решить свою проблему.

– Конечно. Спасибо тебе.

– Тогда придётся что-то выдумать, чтобы объясниться в школе. Это, дружок, на тебе. Придумай легенду... Кстати, ты нам с отцом очень помогал последнее время, и скоро 8 марта... Может быть, хочешь сделать подарок этой девочке?

– Хочу.

Он подготовил обдуманый подарок – записную книжку с закатом на обложке и персиковую ручку, гармонирующую с оттенками неба на глянцевои поверхности.

Илья стоял у кабинета истории, подпирал плечом панельную стену, а в руке держал небольшой пакет, перетянутый красной лентой. Сверстники уже собирались к первому уроку, постепенно заполняя класс голосами и шумом.

Соскользнувшая на плечо лямка серого рюкзака, выбившаяся прядь блестящих волос, – всё это была Таня, которая приближалась к нему из другого конца коридора.

«Сейчас она подойдет, спросит, чего я не захожу в кабинет, а я скажу: «Привет, Таня! Это тебе!», и она обрадуется и, быть может, даже обнимет меня».

Она подходила всё ближе, и решимости у него становилось всё меньше. Тело стало каменным, в горле появился ком. Вспомнилась недавняя потасовка с Лешкой, он тут же отогнал неприятные воспоминания. Нужно уметь добиваться своего любой ценой, даже если придётся ещё раз драться.

– Привет. Почему тут стоишь? – с усмешкой спросила Таня, прищурившись.

– Тань! С Восьмым марта! От меня, – он протянул подарок, надеясь, что она не обратит внимания на его дрожащие пальцы.

Как изменился её взгляд! Испуганно-оцепенелый, он перемещался с вытянутых рук Ильи на его лицо и обратно.

– Спасибо, конечно. Но мне ничего от тебя не надо, – неприязненно искривила она губы и, отвернувшись, проскользнула в класс.

Мир рухнул. Осталась лишь пустота в его душе, гнетущая, вязкая и раздирающая всё нутро на части. Ему было очень тяжело зайти туда, где есть её глаза, её волосы, её голос, но он был бессилен, поэтому шагнул, как в пропасть, в кабинет истории.

И что там рассказывали учителя на тянувшихся бесконечно уроках? Он не помнил...

На одной из перемен увидел перед собой лицо Риты. Оно напоминало мамино, такой же участливый взгляд, бровки домиком, складочка между ними.

– Что-то случилось? Ты грустный, и ни слова сегодня не сказал, – обеспокоенно прошептала она и собралась уходить. – Всё будет хорошо!

– Стой!

Илья привстал, успел схватить её запястье. Девушка замерла. Полез в портфель, достал паке-тик.

– Рит, возьми. Это тебе. С женским праздни-ком!

– Спасибо, Илюша, – растерялась она, прини-мая подарок. – Я... Я так рада...

И тут Илья открыл со всей ясностью то, чего не замечал раньше. Эту милую, особенную улыб-ку. Эти по-девичьи подвижные, чуть припухшие губы, крупные карие глаза, темно-ореховые пря-ди, затянутые в высокий хвост. И с замиранием души понял, что перед ним не придуманная, а настоящая, реальная красивая девушка с неж-ным и чутким сердцем.

Тамерлан ТЕХОВ

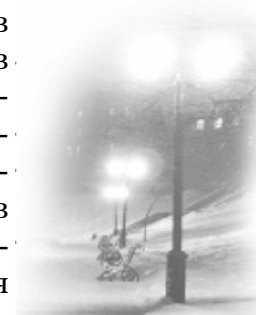
ДАР БЕСЦЕННЫЙ

«В память о наших Кур-ских фестивалях», – теплые пожелания с такой вот фразой адресовал автору данных строк член Союза писателей России, Литературного сообщества писателей России, Творческого объединения детских авторов России Николай Ананьченко в конце сентября 2023 года, пре-поднося в дар свою новую кни-гу «В гости к нам стихи при-шли». Те «Родники дружбы» в Курском районе родного Став-ропольского края стали для тонкого знатока детской души последними...

Общение с Николаем Михайловичем было настоя-щим праздником не только для детей, на встречи с которыми он часто приходил в школы и



Литературо-ведение



инные учебные заведения, но и для всех считающих художественное слово бесценным даром. Писатель мог щедро одарить их, так как хорошо знал произведения классиков и своих современников. Те же, кто читал его книги, наверняка отметили богатство внутреннего мира человека и заложенного в нем от природы стремления к новым знаниям. Что взрослому, что ребенку, он рассказывал своим творчеством о простых, но дорогих сердцу маленьких радостях, из которых и состоит большая жизнь. Он видел то, что могли видеть и все мы, но – в других, гораздо более ярких красках, что отражалось в стихотворениях, рассказах, художественной публицистике.

...Не набрать уже номер телефона, не услышать всегда бодрый, неунывающий и жизнеутверждающий голос. Но осталось творчество, подробное осмысление которого в среде литературоведов и критиков только начинается. Данный материал является скромным вкладом в это важное общее дело.

Просторы детства в творчестве Николая Ананьченко

Поэт, прозаик, переводчик, лауреат премии Губернатора Ставропольского края в области литературы им. А.Т. Губина, международной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Детская литература», ряда других фестивалей и форумов Николай Ананьченко никогда не сомневался в том, что детей можно и нужно заинтересовать

художественным словом. Да, его юных современников «воспитывают» передовые технологии, угрожающие «клиповым» мышлением, но хорошая книга автора, говорящего с детьми на их языке, не может их не заинтересовать. Тем более если сам этот автор – в среде своих читателей, регулярные встречи с которыми работают на духовное взаимообогащение. А ведь дети еще и соавторы тем для новых произведений! Если, конечно, быть с ними искренним и открытым к общению.

Такое вот простое, но сложно исполнимое кредо, если самому не оставаться в душе ребенком и не испытывать счастья причастности к просторам детства как свидетель взросления новых поколений пока еще непоседливых «почемучек».

Таким счастьем писатель Николай Ананьченко обделен не был. Более того, стал еще и организатором, стремившимся сплотить лучшие писательские силы Северного Кавказа для подготовки совместных детских книжных праздников, издания антологий детской поэзии и прозы. К сожалению, успел только деятельно поучаствовать в создании антологии детской поэзии Ставрополья «В краю веселых радуг» и поэтического сборника современных авторов Осетии и Ставрополья «Созвучие сердец».

Авторской итоговой антологией стала книга «В гости к нам стихи пришли» (Ставрополь, Кемерово: ООО «Вектор-Принт», 2023. – 234 с.), изданная в серии «Ставропольские писатели –

детям». Писатель составил ее, систематизировав собственное детское поэтическое творчество в формате собеседника детей до 12-летнего возраста и действенного помощника воспитателей детских садов и учителей начальных классов школ.

Всем им, «добрым и милым читателям», открывается трогательный, понятный и доступный «маленький мир» детства с удивительными сказочными просторами. Причем сказка, по мысли автора, и вокруг нас тоже. Надо только уметь ее видеть, ценить и... создавать самим для себя. Призыв к такому «обыкновенному волшебству» явственно слышится, к примеру, в стихотворении «Дар бесценный»:

*Встань пораньше, до рассвета.
По тропинке, чуть заметной,
Через луг, росой умытый,
К речке тихой, неширокой
Прибеги.*

.....
*А когда луч первый солнца
Глади водной вдруг коснется,
Ты увидишь: мир прекрасен!
Он искрится красотой!
Ты ее на век запомни,
Сохрани, как дар бесценный,
И она тебя наполнит
Счастьем, радостью, любовью!*

Вот он, рецепт счастья от дяди Коли! Мы, увы, в повседневной суете отвыкли от создания

маленьких праздников в виде неспешных прогулок с детьми. Не вглядываемся с ними в голубое небо, не замечаем божью коровку и копошащегося воробушка, не слышим шелест листьев на дереве. Не жалуясь при этом на зрение и слух, так что дело здесь исключительно в невнимательности и нежелании «сохранить дар бесценный». А ведь сказка-то живет в каждом из нас, надо только раскрыть в себе «шкатулку», наполненную «счастьем, радостью, любовью». Это возможно всегда, если задаться целью стать настоящим близким другом своих детей или внуков.

Отдача последует сразу – дети все поймут и постараются отблагодарить. По-своему, очень необычно и трогательно, как Ваня и Саша из стихотворения «Забота», решившие не взрослеть, чтобы папа и мама никогда не постарели. Можно не сомневаться в том, что по-детски непосредственное мышление с детской же логикой вперемишку автор подметил у тех, кому адресованы его лучшие стихотворения. Бесед с ними было предостаточно, и на их вопросы иногда не просто найти ответ, как в стихотворении «Художник-ветер». Вот что ответить внучке, спрашивающей, кто «прямо в небе из дождей / Рисует сказочных зверей?» На этот раз «экзамен» пройден успешно: «Это ветер постарался... / Лепить из туч... / Для нас веселые фигуры». Вот он, незабываемый «аромат» связи поколений! Сколько таких вопросов и рассуждений на самые разные темы мы слышим от детей и не фиксируем, будучи уверенными, что все запомнится. Не все и не всегда,

и тем ценнее, что автор таких историй знает много и делится ими с читателем.

На просторах детства очень важно уметь фантазировать, обогащая тем самым свой внутренний мир. Автора как раз и беспокоит, что подобным свойством дети обделены, так как им уже не рассказывают сказки, не читают вслух образцы классических произведений, да и сами они не спешат окунуться в тот же богатый и причудливый мир народного творчества. Вот и выводит он на страницы книги маленького Богдана, «превратившего» комнату в доме в безбрежное море, а себя – в капитана парохода. Папа с мамой в безопасности, так как сидят на «кресле-острове». Осталось «отплыть» к далеким берегам и привезти дедушку. Здесь опять удачно выведен образ дружной семьи, так необходимой маленькому непоседе, а познавательно-обучающий элемент заключается в стимулировании маленького читателя к такому же «плаванию» на волнах собственного воображения.

«Плавание» это позволяет герою другого стихотворения «Слон в комнате» «поселить» с собой кошку, щенка, тигра, лису, медведей, едущих на мотоцикле, и барана. Все они в сознании ребенка прекрасно уживаются между собой. Вот только даже в воображении слишком большим, не влезающим в комнату, предстает слон. Ну и куда его, бедного? Каждый маленький читатель предложит свои варианты и тем самым включит свое воображение. А если еще предложить ему отразить «решение проблемы» на бумаге с помо-

щью цветных карандашей, пойдет развитие способностей художника. Такая вот практическая польза от разношерстной компании...

Ребенок вместе с автором пожалеет «бездомного» слона и... перейдет к стихотворению «Как зайти в гости?», озаботившись уже проблемой маленькой улитки, желающей зайти к подружке-улитке на чай. Домики у обеих свои и совсем тесные. Включайте воображение, помогайте улиткам, заодно получая знания о живой природе!

Автора с его маленькими читателями сближает способность говорить «неологизмами», которыми они зачастую так и сыпят. В стихотворении «Дыргодины» объясняется, почему нельзя совать пальчики в дырочки. В них, оказывается, живут кусачие, колючие «дыргодины злючие». Просто и доходчиво, с намеком на то, что можно самому придумать таких же существ – обаятельно «злючих» и откровенно добрых.

Дополняет картину «придумывания» злючек не только стихотворение «Про Смешинку и Кашлинку». Смешинка заставляет смеяться, кашлинка – кашлять. Что ж тут непонятного? А вот как выглядят эти невидимые «зверюшки», с кем из них следует дружить и кого опасаться? Тут с детьми можно поговорить об умении вести себя в обществе (нехорошо выглядеть все время несерьезным) и здоровом образе жизни (физкультура защитит от простуды).

Огромная любовь к детям позволила поэту создать и стихотворение с философским уклоном

«В гости на Луну». Да, слово «философское» мало применимо к творчеству для детей, но послушаем ответ слона, которого отговаривают от полета на Луну под тем предлогом, что планета эта «и пуста, и холодна. / И никто там не живет»:

*На Луне
Дети могут быть вполне.
Если светится Луна,
Значит, счастлива она.
А счастливыми на свете
Могут сделать нас лишь дети!*

Хорошо сказано, возразить слону нечего! И таких неожиданных осмыслений «будничного настоящего» в творчестве Николая Ананьченко много. Потому, что он имел счастье пропуска на ПРОСТОРЫ СТРАНЫ ДЕТСТВА всю сознательную жизнь, гуляя по ее полям и лесам вместе с маленькими обитателями, которым подарил чудесные поэтические картинки о золотой поре, навсегда остающейся в сердце...

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ И НОВЫЙ ГОД НА СТАВРОПОЛЬЕ

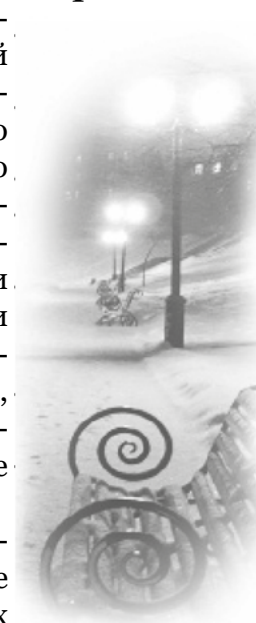
Рождество считалось главным зимним праздником российской империи. Его отмечали 25 декабря по старому стилю. Привычная для нас новогодняя елка тогда называлась рождественской. Новый год был исключительно светским и второстепенным по отношению к Рождеству. До Первой мировой войны ставропольское дворянство и купечество пышно проводили Рождественские праздники и Новый год. Устраивались многочисленные вечеринки, елки, самодеятельные концерты, ставились самые разные смешные представления.

Состоятельные люди раздавали деньги на всевозможные добрые дела. В ставропольских



**Алексей
КРУГОВ**

Краеведение



церквях верующие жертвовали в пользу бедняков. Была такая добрая традиция в нашей губернии да и во всей стране!

Городская знать отмечала праздник в ресторанах с шампанским, простые обыватели в питейных заведениях употребляли знаменитое кахетинское. Молодые люди, как правило, холостые, встречали Новый год в гостях, семейные – дома. Устраивали застолье, придумывали, насколько каждому позволяла фантазия, разнообразные развлечения. Катались на санках и коньках, устраивали фейерверки, ходили друг к другу в гости. Словом, развлекались, кто как мог!

В ставропольской краевой библиотеке есть замечательная книжка «Шалуны-проказники», изданная в Москве (1897). Из нее на новогодние праздники брали смешные сценки, веселые розыгрыши, стихи, например:

*В ночь святую посещает
Деток старый, старый дед
И послушным оставляет
Он игрушек и конфект.*

Именно так и писали конфект! Самые вкусные конфекты были у ставропольского кондитера Федора Дроздова. Особенно полюбились детворе знаменитая фруктовая карамель и дроздовские бонбоньерки. Это были небольшие коробочки с новогодними подарками, очень популярные у горожан. Для справки. Бонбоньерка (фр. bonbonnière – «конфетница», от фр. bonbon – конфета) – красиво оформлен-

ная коробка для конфет. Бонбоньерки дарили не только на Рождество и Новый год. Изящная коробочка дроздовских конфет была желанна на любом празднике, будь то свадьба, пасха, крещение или именины. Эти конфетницы в форме ёлочных украшений вызывали удивление и восторг у детей, нашедших на утро под ёлкой такое сокровище. Новогодние гулянья заканчивались к утру. Ближе к обеду 1 января горожане совершали новогодние визиты. Но, в отличие от рождественских, подобные встречи носили куда более официальный характер. С поздравлениями предстояло объехать всё начальство и людей, общение с которыми могло пригодиться в работе. Хозяева домов в этот день не накрывали больших столов, а подавали только чай.

На праздниках звучала стихотворная классика: «Зима, крестьянин торжествуя...», «Не ветер бушует над бором...», «Однажды в студеную зимнюю пору...», «Чародейкою зимою...» Одна из популярнейших фраз для поздравления друг друга с наступающим и наступившим Новым годом звучала так: «С новым годом! С новым счастьем!»

Это высказывание родилось в дореволюционной России. Автором является Фёдор Иванович Тютчев. Фраза появилась 150 лет тому назад в канун Нового 1871-го года. Едва ли сам Тютчев прочил этой формулировке такую «вечную» жизнь. Он написал стихотворение, содержащее строчку «С новым годом, с новым счастьем...» Оно

задумывалось как одна из составляющих необычного подарка жене.

*С Новым Годом, с новым счастьем,
С постоянною удачей;
Вот привет любви собачьей,
Ты прими его с участием.*

Поздравительное четверостишие было выгравировано на салфеточном кольце в форме ошейника и преподнесено Эрнестине Фёдоровне Тютчевой её псом Ромпом. Удивительна смысловая ёмкость фразы. Она содержит в себе одновременно и поздравление, и пожелание. При этом очень лаконична и весьма оригинальна.

Попробуем воссоздать новогоднюю атмосферу более чем столетней давности, например, 1915–1917 годов. Столы уже не ломились от блюд и напитков. Романтические прогулки на тройках при луне тоже ушли в прошлое. Обстановка в Ставрополе на Новый год не отличалась особой праздничностью. Война наложила свой драматический отпечаток. Госпитали, богадельни были заполнены ранеными, в семьи приходили похоронки... Зимой 1915 года в Ставропольской губернии был объявлен сбор рождественских подарков для воинов Кавказской армии. Организацией пунктов сбора пожертвований от населения, проведением благотворительных вечеров и созданием библиотеки для раненых воинов занимался Ставропольский дамский комитет под председательством супруги ставропольского губернатора Марии Ильиничны Янушевич.

Наряжать ёлку было принято всей семьёй. Во многих домах делали новогодние игрушки своими руками. Семья садилась за стол, и все, от мала до велика, вооружившись ножницами и клеем, вырезали снежинки, делали бумажные гирлянды, оборачивали фольгой грецкие орехи. И всё это вместе с конфетами и фруктами вешали на ёлку. В некоторых семьях украшали домашние елки сладостями ручной работы, игрушками и фонарями. На стенах вывешивали цветочные гирлянды, делались яркие композиции, украшали дома по мере своего достатка. Людям хотелось создать хотя бы минимальное ощущение праздника.

Было время, когда елку украшали съедобными игрушками: медовыми пряниками, пастилой, орехами, вафлями. Особенно нарядно смотрелись среди зеленых иголок красные яблочки. В конце праздника происходило «ощипывание» праздничного дерева. Детям разрешалось снимать с елки все, до чего они могли дотянуться.

Наши прадеды придумали вешать на елку позолоченные или посеребренные орехи. Тогда они обклеивали их поталью. Это очень тонкая золотая фольга различного размера для имитации золота или серебра. Ни серебра, ни тем более золота в потали не было, это сплав меди и цинка. В игрушечных магазинах поталь продавали в виде небольших книжек, которые состояли из двадцати листиков. Орех макали в молоко, клали на один из таких листочков и закатывали. Потом

некоторое время сушили, приделывали к игрушке петельку и вешали на елку. Но сколько радости было у ребенка! Сделал сам!

Игрушки в то время воссоздавали евангельский сюжет, а само елочное дерево «было наполнено религиозной символикой от макушки до подножия». Верхушку дерева обычно венчала Вифлеемская звезда. Крестовина у подножия несла в себе изображение распятия как символа страстей Христовых. Под елкой располагался рождественский вертеп. Воссоздавалась из подручных материалов игрушечная пещера со Святым семейством. Особенно праздничным было рождественское утро. Дети бежали к наряженной елке и находили там приготовленные для них подарки.

В дореволюционной России, кстати, было не принято устанавливать и наряжать елку задолго до Рождества и держать ее дольше Крещения. Это считалось дурной приметой. Но обычаи меняются. Сегодня в магазинах лесную красавицу наряжают чуть ли не в ноябре месяце. Елки четко разделялись по социальному принципу. Существовала елка «богатая» и «бедная», «семейная» и «благотворительная», «дворянская» и «купеческая», «городская» и «сельская».

Одно из самых популярных новогодних мест в Ставрополе – это зимний театр «Пассаж» купцов Меснянкиных на Николаевском проспекте (ныне пр. Карла Маркса). Здесь устраивали детскую елку с подарками, призами, играми. Перед началом праздника зажигались свечи. Встреча с лес-

ной красавицей для детворы всегда была долгожданным событием. Для малышни обязательно устраивали катание на санках с гор. Это тоже входило в программу. Торжество для ребятишек обычно начиналось после обеда.

На празднике разыгрывались сюжеты из русских народных сказок. Обязательно с «зимней» тематикой, например, «Морозко» и «Снегурочка». В ход шла «зимняя» стихотворная классика: «Зима, крестьянин торжествуя...», «Не ветер бушует над бором...», «Однажды в студеную зимнюю пору...», «Чародейкою зимою...» Это для детей! А для взрослых?

В канун Нового года для взрослых в «Пассаже» проводили грандиозный бал-маскарад с танцами до 2 часов ночи, так сообщалось в рекламном объявлении. Их обязательным атрибутом стали не только маски, но и карнавальные костюмы. За лучший наряд устроители бала выдавали ценные призы.

Костюмы заказывали у местных модисток и портних, которые одевали женщин разных сословий. Одежда шилась вручную и ткани стоили дорого. Замечу, портновское ремесло считалось у нас в городе уважаемой респектабельной профессией. Среди модисток, скажу я вам, были известные мастерицы. Вот шляпница Ришка Виленская могла создать ошеломительный головной убор.

Костюмы для дам, как правило, копировались из модных журналов того времени. Они имели оригинальные названия. Например, «Офелия» и «Аврора» предлагались блондинкам. Брюнетки

предпочитали быть «Гречанками» или «Африканками». Дамы зрелого возраста выходили в образах «Матушки Гусыни» или «Пуританки». Пользовались спросом «древнерусские мотивы», русалки и цыганки.

В Первую мировую войну вырос интерес к национальной теме. Провинциальные модницы щеголяли в платьях патриотической бело-сине-красной гаммы. Оригинальную прическу, соответствующую празднику, дамам помогал делать парикмахер Жорж, который громко именова́л себя профессором парижской академии. Его кабинет находился на Воронцовской улице, недалеко от городского парка. Мужчины зачастую выбирали наряд пирата, монаха, рыцаря, мушкетера или Пьеро. У кого на что хватало фантазии, а главное, денег.

На Рождество Ставрополь преображался. Фасады домов украшали елочные гирлянды, крупные связки шаров серебристой и золотой цветных гамм. В витринах магазинов красовались фигуры персонажей народных сказок: Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Снежинки. И, конечно, роскошная елка.

Светские развлечения смешивались со старыми рождественскими обрядами: гаданиями, колядками, крещенскими купаниями с целью омовения грехов. Взрослые слали друг другу новогодние открытки, поздравляя с праздником. Ныне открытки по почте отправляют довольно редко, разве что во время путешествий. А жаль...

В дореволюционном Ставрополе поздравительная открытка была важным видом обмена информацией между людьми. В то время поздравительные открытки летали по всей стране миллионами экземпляров. Вот попробуй, не поздравь родню с праздником!

Сейчас мы иногда называем иллюстрированную открытку интернетом начала XX века. В нашей стране иллюстрированные почтовые карточки появились в 1895 году. Кстати, в предновогоднем Ставрополе широкий ассортимент таких открыток был в художественном магазине «Победа» Сумбата Тосунова.

В сюжетах господствовал русский стиль. На картинке изображали заснеженные избы, лихие тройки, нарядных детишек. Встречались симпатичные женские лица и семейные сценки. Популярными были новогодние открытки с изображением семейства в домашней обстановке и неожиданным гостем – почтальоном. Он приносил условные мешки с деньгами. Это был своеобразный символ достатка и благополучия. Новогодний хит того времени – русская детская песня «В лесу родилась елочка».

*И вот она нарядная
На праздник к нам пришла
И много-много радости
Детишкам принесла!*

Просто удивительно, как легко эта незатейливая песенка смогла пережить войны, кризисы и пандемии... Во время революции многие «бур-

жуйские» песни запретили, но «Елочку» практически сделали детским гимном. Автором песни была Раиса Адамовна Кудашева.

На новогоднем празднике официальные лица говорили здравицы в чью-то честь. История сохранила, например, новогодние поздравления первых лиц Ставропольской губернии до революции 1917. Скажем, тогдашний губернатор князь Сергей Дмитриевич Оболенский официально поздравил всех жителей губернии с Рождеством и Новым годом, произнес здравицу в честь государя-императора и наследника престола царевича Алексея. Все, как всегда. Свое слово сказал Архиепископ Кавказский и Ставропольский Агафодор (в миру Павел Флегонтович Преображенский). Он пожелал при большом стечении народа в кафедральном соборе, чтобы 1917 год стал годом благодати и милосердия Божия, годом счастья и радостей, чтобы он принес мир, благоденствие и изобилие плодов земных в каждую семью. К сожалению, тот год, увы, не принес ни мира, ни благоденствия!

Предводитель дворянства Ставропольской губернии генерал Павел Александрович Мачканин, легендарная для нашей губернии личность, провозгласил здравицу в честь прекрасных тружениц Дамского комитета местного отделения Красного Креста. Можно сказать, что история праздника елки до революции 1917 года достаточно благополучна: праздник стал традиционным, его называли рождественским, святочным, новогодним.

Но вот первого января 1918 года жители нашей губернии проснулись уже в Ставропольской советской республике. И все в одночасье стали советскими гражданами. Взамен Рождества стал культивироваться Новый год. Большевики кардинально изменили привычный быт, целенаправленно боролись с Рождеством. Они считали его пережитком прошлого, критиковали его «контрреволюционную сущность», выступали за искоренение елки как «поповского праздника»! Эта связь елки с Рождеством в конце концов послужила основанием запрета на нее в 1929 г. По воспоминаниям современников, рождественские елки устанавливались в некоторых домах. Однако делалось это с осторожностью, за плотно закрытыми окнами. Но это уже совсем другая история...

Литературное Ставрополье
Альманах № 3 (2024)

Отпечатано в ООО «Славянская Типография»
Воронеж, пр-т Труда, д. 46д, помещ. 1, ком. 1

Подписано в печать 04.09.2024
Тираж 1000 экз. Заказ № 2406437